

НОВЫЙ МИР

9

МОСКВА

1942

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1942 г.

№ 9

Год издания XIX

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|--|------|
| Вера Инбер — Пулковский меридиан, главы из поэмы | 3 |
| С. Сергеев-Ценский — Брусиловский прорыв, исторический роман в 2-х частях (продолжение) | 10 |
| Ц. Солодарь — Знамя предков, стихотворение | 39 |
| Алексей Толстой — Рассказы Ивана Сударева | 40 |
| Юрий Слезкин — Старики, рассказ | 60 |
| Сергей Алымов — Клятва, стихотворение | 74 |
| А. Хамадан — Севастопольцы | 75 |
| Вл. Андри — Мир и война | 89 |
| Борис Ямпольский — Село Прелестное | 92 |
| ————— | |
| В. Стамбулов — Международный обзор | 96 |
| ————— | |
| И. Нович — Н. Г. Чернышевский и родина | 108 |
| О. Войтинская — И. Эренбург-публицист | 117 |
| ————— | |

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

| | |
|---|-----|
| Ц. Солодарь — Военные стихи И. Фефера и Д. Гофштейна | 121 |
| Вл. Афанасьев — Гвардейцы о себе | 123 |
| Н. Богословский — Жизнь и творчество Некрасова | 124 |
| Новые книги | 126 |

Пулковский меридиан

Главы из поэмы

ВЕРА ИНБЕР

★

Глава первая

МЫ ГУМАНИСТЫ

1.

В пролет меж двух больничных
корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов, —
Упала утром бомба весом в тонну,
Но не взорвалась. Словно был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал.

2.

Здесь госпиталь. Больница. Лазарет.
Здесь красный крест и белые халаты.
Здесь воздух состраданием согрет,
Здесь бранный меч на гипсовые латы,
Укрывшие простреленную грудь,
Не смеет, не дерзает посягнуть.

3.

Но немец выжег кровью и железом
Все эти нормы. Тишину палат
Он превращает в судорожный ад.
И выздоравливающий с протезом,
Храбрец, блестяще выигравший бой,
Бледнеет, видя смерть перед собой.

4.

А вестибюль приемного покоя...
Там сколько жертв! Их привезли
сейчас:
Тот без ноги, тот с вырванной рукою,
Разбита челюсть. Девушка без глаз
(Они полны осколками стекла)
Рыдает, что она не умерла.

5.

Фашист!.. Что для него наш мирный
кров,
Где жизнь текла, исполненная смысла,

Где столько пролетало вечеров
За письменным столом. Теперь повисла
Над пустотой развалина стены,
Где полки книг еще сохранены.

6.

Что для него, для немца, русский дол,
Голландский сад, норвежская деревня?
Что для него плодовые деревья,
Речная пристань, океанский мол?
Все это только авиамишени,
Все это лишь объекты разрушений.

7.

Умение летать!.. Бесценный дар.
Взлеянная гениальным мозгом
Мечта. Впервые на крылах из воска
Взлетает к солнцу юноша-Икар.
Затем ли, чтоб на крыльях
«мессершмиттов»
Витала смерть над современным
Критом?

8.

Затем ли итальянец Леонардо
Проникнуть тщился в механизм крыла,
Чтоб в наши дни, в Берлине, после
старта
Фашистская машина курс взяла
На университетские аллеи
Времен еще Декарта и Линнея?

9.

В Америке затем ли братья Райт
В двадцатом веке покорили воздух,
Чтоб в тучах дыма задыхались звезды?
Чтоб сектор неба, горизонта край
Тонул в огне? Чтоб зарево вставало
От Невки до Финляндского вокзала?

10.

Затем ли величайшие умы
Приветствовали солнцу на высотах,
И зная мед копили в книжных
сотах,
Чтобы пещерное исчадие тьмы,
Весь обгаренный заревом, — теперь
Над миром встал бы человекозверь?

11.

Как грозен неба вид! Как необычен!
Как глухо польхают жерла туч
В часы ночных боев, когда зенитчик
Прожектористу говорит: «Дай луч».
И бледный луч, на поиски врага,
Вздывается, как грозная рука.

12.

Нашла его. Нашарила за тучей.
К земле его! Чтоб ó земь головой,
Чтоб подняли его моторы вой,
Чтобы сгорел он в собственном
горючем.
Чтобы зловонный этот нетопырь,
Ломая крылья, пал бы на пустырь.

13.

Не вырвется из наших рук, шалишь!..
Он мечется. Движения все резче.
Он падает. И, видя это с крыш,
Пожарные дружины рукоплещут.
И, слыша это снизу, со двора,
Дежурные во тьме кричат «ура»...

14.

Есть чувства в человеческой душе,
Которыми она гордиться вправе.
Но не теперь. Теперь они уже
Для нас, как лишний груз при
переправе.
Влюбленность. Нежность. Страстная
любовь...
Когда-нибудь мы к вам вернемся вновь.

15.

У нас теперь одно лишь чувство —
месть.
Но мы иначе понимаем это;
Мы отошли от Ветхого завета,
Где смерть за смерть. Нам даже трудно
честь...

С лица земли их будут сотни стертых
Врагов — за каждого из наших
мертвых.

16.

Мы отомстим за все: за город наш,
Великое творение Петрово,
За жителей, оставшихся без крова,
За мертвый, как гробница, Эрмитаж,
За виселицы в парке над водой,
Где стал поэтом Пушкин молодой.

17.

За гибель петергофского «Самсона»,
За бомбы в Ботаническом саду,
Где тропики дышали полусонно
(Теперь они дрожат на холоду).
За все, что накопил разумный труд,
Что немцы превратили в груды груд.

18.

Мы отомстим за юных и за старых:
За стариков, согнувшихся дугой.
За детский гробик, махонький такой,
Не более скрипичного футляра.
Под выстрелами, в снеговую мать,
На саночках он совершал свой путь.

19.

Мы гуманисты, да! Нам дорог свет
Высокой мысли (нами он воспет).
Для нас сиянье светлого поступка
Подобно блеску перстня или кубка,
Что переходит к сыну от отца,
Из века в век, все дале, без конца.

20.

Но гуманизм не в том, чтобы глядеть
С невыразимо-скорбной укоризной,
Как враг глумится над твоей отчизной.
Как лапа мародера лезет в клеть,
И с прибежавшего на крик домой
Срывает шапку вместе с головой.

21.

Как женщину, чтоб ей уже не встать,
Ефрейтор-немец сапогами топчет.
И как за окровавленную мать
Цепляется четырехлетний хлопчик.
И как, нарочно по нему пройдя, —
Танк давит гусеницами дитя.

22.

Сам Лев Толстой, когда бы смерть дала
Ему взглянуть на Ясную Поляну,
Своей рубахи, белой, как зима,
Чтоб не забрызгать кровью окаянной,
Фашиста, осквернителя могил,
Он старческой рукой бы задушил.

23.

От русских сел до чешского вокзала,
От крымских гор до Ливии пустынь,
Чтобы паучья лапа не всползала
На мрамор человеческих святынь,
Избавить мир, планету от чумы,
Вот гуманизм. И гуманисты — мы.

24.

А если ты, Германия, страна
Философов, обитель музыкантов,
Своих титанов, гениев, талантов
Предавши поруганью имени,
Продлишь кровавый гитлеровский
бред, —
Тогда тебе уже прощенья нет.

25.

Запомнится тебе карельский лед,
Не позабудешь клинскую метель ты,
И синие морозы невской дельты,
И в грозном небе Пулковских высот,
Как ветром раздуваемое пламя,
Победоносно реющее знамя.

Глава вторая

СВЕТ И ТЕПЛО

1.

В ушах все время словно щебет
птичий,
Как будто ропот льющей воды:
От слабости. Ведь голод. Нет еды.
Который час? Не знаю. Жалко спички,
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла,
И длится ночь без света и тепла.

2.

На мне перчатки, валенки, две шубы,
(Одна в ногах). На голове платок;
Я из него устроила щиток,
Укрыла подбородок, нос и губы.

Зарылась в одеяло, как в сугроб.
Тепло. Отлично. Только стынет лоб.

3.

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
О корочке, обсыпанной мукой.
Вся комната полна им. Даже мебель
Он вытеснил. Он близкий, и такой
Далекий, точно край обетованный, —
И самый лучший — это пеклеванный.

4.

Он с детством сопрягается моим,
Он круглый, как земное полушарье.
Он теплый. В нем благоухает тмин.
Он рядом, здесь. И кажется —
пошарь я
Рукой, перчатку лишьними,
И ешь сама, и мужа накорми.

5.

А там, по Северной, сюда идут,
Идут составы, — каждый бесконечен.
Не счесть вагонов. Ни один диспетчер
Не посягает на его маршрут.
Он знает: это посланный страной,
Особо-важный. Внеочередной.

6.

Там тонны мяса, центнеры муки.
И все это в три яруса, грядую,
Лежит в полкилометра высотой, —
Но все это, не доежая Мги...
Там овощи. Там витамины «Це»,
Но мы в блокаде. Мы почти в кольце.

7.

И даже будто в Мурманске стоят
Для нас американские продукты:
Консервы, сахар, масло. Даже фрукты.
Бананы... Ящики, за рядом ряд.
И за долготерпенье нам в награду,
На каждом надписи: «Только
Ленинграду».

8.

Нам тяжело. А тут еще мороз
Свирепствует, невиданный дотоле.
Торпедный катер стынет на приколе,
Автобус в ледяную корку врос;
За наименьшем тока нет трамваев:
Все тихо. Город стал неузнаваем.

9.

И пешеход, идя по мостовой
От Карповки до улицы Марата,
В молчаньи тяжкий путь свершает свой.
И только редкий газогенератор,
На краткую минуту лишь одну
Дохнув теплом, нарушит тишину.

10.

Как бы сквозь сон, как в деревянном
веке,

Невнятно где-то тюкает топор.
Фанерные щиты, сарай, забор,
Подусгоревшие дома-калеки,
Остатки перекрытий и столбов, —
Все рубят: для печурок и гробов.

11.

Две женщины (недоля их свела)
В платках до глаз, соприкасаясь лбами.
Пеньек какой-то пилят. Но пила
С изогнутыми слабыми зубами,
Как будто бы и у нее цынга,
Не в состоянии одолеть пенька.

12.

Ни лая, ни мяуканья, ни писка
Пичужьего. Небось, пичуги там,
Где, весело летая по пятам
За лошадью, как из горячей миски,
Они хватают зернышки овса...
Там раздаются птичьи голоса.

13.

Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
И кран, с его металла белизной,
Забулькает, как соловей весной, —
И долго будет течь вода из крана.
А нынче, ледяным перстом заткнув,
Мороз оледянил блестящий клюв.

14.

А нынче пьют из Невки, из Невы,
(Метровый лед коли хоть ледаколом).
Стоят обмерзшие до синевы,
Обмениваясь шуткой невеселой,
Что уж из что, мол, нельская вода,
А и за нею очередь. Беда!..

15.

А тут еще какой-то испоганил
Всю прорубь керосиновым ведром.
И все, стуча от холода зубами,

Владельца поминают недобром:
Чтоб он сгорел в огне, чтоб он ослеп,
Чтоб потерял он карточек на хлеб.

16.

Лишилась тока сеть водоснабженья,
Ее подземное хозяйство труб.
Без тока, без энергии движенья,
Вода замерзла, превратилась в труп.
Насосы, фильтры — их живая связь
Нарушилась. И вот — оборвалась.

17.

(В системе фильтров есть такое сито —
Прозрачная стальная кисея —
Мельчайшее из всех. Вот так и я,
Стараюсь удержать песчинки быта,
Чтобы в текучей памяти людской
Они осели б, как песок морской.)

18.

Нет радио. И в шесть часов утра
Мы с жадностью последние известья
Уже не ловим. Наши рупора —
Они еще стоят на прежнем месте,
Но голос... голос им уже не дан:
От раковин отхлынул океан...

19.

Зима роскошествует. Нет конца
Ее великолепьям и щедротам.
Паркетами зеркального торца
Сковала землю. В голубые гrotы
Преобразила черные дворы.
Алмазы... Блеск... Недобрые дары.

20.

И правда, в этом городе, в котором
Больных и мертвых множатся ряды,
К чему эти зеркальные просторы,
Хрусталь садов и серебро воды?
Закреть бы их!.. Закреть, как зеркала,
В дому, куда недавно смерть вошла.

21.

Но чем закрыть? Без теплых
испарений
Воздушный свод неизъяснимо чист.
Нетающий на ветках снег — сиренев,
Как дымчатый уральский аметист.
Закат сухумской розой розовеет...
Но лютой нежностью все это веет.

22.

А в час, когда рассветная звезда
Над улиц перспективой несравненной
Сияет в бездне утренней, — тогда
Такою стужей тянет из вселенной,
Как будто бы сам космос, не дыша,
Глядит, как холодеет в нас душа.

23.

Недаром же, на-днях, заняв черед
С рассветом, чтобы круп достать к
обеду,

Один парнишка брякнул вдруг соседу:
«Ну, дед, кто эту ночь переживет, —
Тот будет жить». И старый дед ему:
«А я ее, сынок, переживу».

24.

Переживет ли? Ох!.. День ото дня
Из наших клеток исчезает кальций.
Слабеем. (Взять хотя бы и меня:
Ничтожная царапина на пальце,
И месяца уже, пожалуй, три
Не заживает, прах ее бери!..)

25.

Как тягостно, и главное, как скоро
Теперь стареют лица: их черты
Доведены до птичьей остроты
Как бы рукой зловещего гримера;
Прибавил пепла, подмешал свинца,
И человек похож на мертвеца.

26.

Открывись зубы, обтянулся рот.
Лицо из воска. Трупная борода,
(Такою даже бритва не берет).
Почти без центра тяжести походка,
Почти без пульса серая рука.
Начало гибели. Распад белка.

27.

У женщин начинается отек.
Они всё зябнут (это не от стужи).
Крест-накрест на груди у них все туже
Когда-то белый вязанный платок.
Не веришь, — неужели эта грудь
Могла дитя вскормить когда-нибудь?

28.

Апатия истаявшей свечи...
Все перечни и признаки сухие
Того, что по-ученому врачи —

Зовут «алиментарной дистрофией».
И что — не латинист и не филолог —
Определяет русским словом — голод.

29.

А там, за этим, следует конец.
И в старом одеяле цвета пыли,
Английскими булавками зашпилен,
Бичевкой перевязанный мертвец
Так на салазках ладно обряжен,
Что, видимо, в семье не первый он.

30.

Но рядом — в одеяльце голубом —
Мальчишечка грудной — само здоровье.
Хотя не женским, даже не коровьим,
А соевым он вскормлен молоком.
Нет — не простое совпадение это.
Здесь жизни передана эстафета...

31.

И тут, в мое ночное бытие,
Вплетается, со мною разлученный,
Иной ребячий облик, мой внучонок.
Он в валеночках, золотце мое,
Он тепел, осязаем. Он весом...
Увы! я сплю, и это только сон.

Глава третья

ОГОНЬ

1.

Мороз, мороз!.. Великий русский холод,
Испытанный уже союзник наш.
Врагов он жалит, как железный овод,
Он косит их, прессует, как фураж,
И по телам заснувших мертвым сном
Он катит дальше в танке ледяном.

2.

Как из былины, в кожаном шеломе,
Глядит из башни (Ну, и здорова!)
Румяная седая голова.
А дальше в этой танковой колонне
Идут бураны, снежные вьюны.
Заносы... Не видать еще весны.

3.

Треск по лесу! Алмазная броня
То изумрудом вспыхнет, то рубином.
А чуть стемнеет, на излете дня,
Вооружась серебряной дубиной,

Уходит партизанить наш старик,
Как в дни Наполеона он привык.

4.

И тут уж все немецкое бежит,
Чтоб от него укрыться как-то, где-то.
И бледная немецкая ракета
Беззвучно заикается, дрожит.
Все снег да снег, без края и конца
Вокруг Оломны и Гороховца.

5.

Ни шороха, ни звука, ни движенья.
Не покидает свой высокий пост
Луна, чье кольцевое окружение
Истаивает под напором звезд.
И вдруг раскат. И ожил горизонт...
Товарищи, здесь Ленинградский фронт!

6.

Вчерашний день мы провели в лесу,
На наших дальнебойных батареях.
И я его забуду не скорее,
Чем собственное имя. Пронесу
Его в глубинах сердца. Никогда
Туда не проникают холода.

7.

С первоначальной силой излученья
Там в вечном сохраняются тепле
Сокровища. Луч солнечный в Кремле.
На ордене, в минуту получения.
Звук голоса, который из Москвы
Мы слушали на берегах Невы.

8.

В безмолвии мы слушали его.
Сигнал тревоги в середине фразы
Из тишины не вывел никого.
Над городом шел бой. Потом на базы
(Мы поняли) вернулись ястребки,
Но наши мысли были далеки.

9.

Речь продолжалась. И такая в ней
Уверенность была, такая сила,
Что эта ночь, которая гасила
Тревогами созвездия огней, —
От сталинского голоса редела.
«Мы победим», — сказал он, — наше
дело

10.

Есть дело правое... Был напоен
Овациями воздух. Будто стая

Крылатых, красных с золотом, знамен
Над нами бушевала, пролетая.
Казалось нам, что где-то высоко
Победный пурпур плещет о древко.

11.

И мы — десятки, тысячи людей,
В настороженном мраке Ленинграда
Мы ощутили вдруг, что мы — громада.
Мы — сила. Что сияние идей,
К которым мы приобщены, бессмертно.
Пусть ночь. Пускай еще не видим
черт мы

12.

Лица победы. Но ее венка
Лучи уже восходят перед нами.
Нас осеняет ленинское знамя,
Нас направляет Сталина рука.
Мы — будущего светлая стезя,
Мы — свет. И угасить его нельзя.

13.

Прошло четыре месяца. И вот
В день Красной Армии, на фронте,
снова
(Февраль: суровый месяц — снег и лед)
Мы услышали сталинское слово,
Мы наблюдали выражение глаз
Людей, его читающих при нас.

14.

Они приказ Наркома Обороны
Читали в полдень и когда закат
Был золотого цвета, как патроны.
В землянке, где над головой накат,
И у костра, под елью вековой,
Когда был Млечный путь над головой.

15.

Оружием всех видов и родов
Приказ был соответственно отмечен.
Связист его читал у проводов,
У карты генштабист. И лишь
разведчик,
Кому и лишний вздох не разрешен,
В тылу врага был этого лишен.

16.

Один из них рассказывал: «В снегу
И сам иной раз станешь, как ледяшка,
Но согревает ненависть к врагу.
Сидишь часами — и оно не тяжко.

Мороз! А в голове горит одно —
Задание, которое дано».

17.

Он прав, разведчик. От глухой тропы,
От точки огневой до бури шквальной,
Когда столбы земли, подобно пальмам,
Перерастают сосны и дубы, —
Везде и всюду, явен или скрыт,
Но этот наш огонь всегда горит.

18.

Он партизанским полимером-пожаром
Захватчиков сжигает на корню.
Закован в современную броню,
Старинным русским полыхает жаром.
Он — меч союзников, он — бич врагов,
Ему дивятся пять материков.

19.

Навек смертельно им потрясены
Те, кто его удары испытали.
Блистательно сказал товарищ Сталин,
Что артиллерия есть бог войны.
Всесокрушающее божество!..
Мы наблюдали в действии его.

20.

Огонь! В честь нас, людей из
Ленинграда,
В честь пятерых, — пять молний, пять
громов
Рванули воздух (мы стояли рядом),
По вражьиm блиндажам пять катастроф.
И в интервалах первым начал счет
Один из нас, сказав: «За наш завод!»

21.

Второй проговорил: «За наш совхоз,
Во всем районе не было такого».
«За сына», — третий тихо произнес.
Четвертая — инструкторша горкома:
«За дочку. Где ты, доченька моя?»
«За внука моего», — сказала я.

22.

Я внука потеряла на войне...
О нет! Он не был ни боец, ни воин.
Он был так мал, так в жизни не
устроен.
Он должен был начать ходить к весне.

Его зимою, от меня вдали,
На кладбище подмышкой понесли.

23.

Его эвакуацией за Волгу
Метнуло. Весь вагон, куда ни глянь,
Всё дети. Ехать предстояло долго...
Так в лес детеныша уводит лань,
Все думает спасти его, пока
В ее сосцах хоть капля молока.

24.

Он был как тот березовый росток,
Который ожил в теплоте землянки
И вырос на стене, как на полянке,
Но долго просуществовать не мог.
Хирел, мечтал о солнце, как о чуде,
И вздрагивал от грохота орудий...

25.

Смертельно ранимая, только тронь,
Воспоминаний взрывчатая зона...
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья
Иду по этим минным загражденьям.

26.

Затем, чтобы перо свое питала
Я кровью сердца. Этот сорт чернил...
Проходит год — они все так же алы.
Проходит жизнь — им цвет не изменил...
Чтобы писать как можно ярче ими,
Воспользуемся ранами своими.

27.

Используем все огневые средства
Для ненависти огненной к врагу.
Боль старости, загубленное детство,
Могилка на далеком берегу...
Пусть даже наши горести и беды
Являются источником победы.

28.

Преследуем единственную цель мы,
Все помыслы и чувства об одном:
Разить врага прямым, косоприцельным
И лобовым, и фланговым огнем,
Чтобы очаг отчаянья и зла —
Проклятые гитлеризма — сжечь дотла.

Брусиловский прорыв

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Исторический роман в 2-х частях

*

Часть I. БУРНАЯ ВЕСНА*

*

Глава четвертая СОВЕЩАНИЕ В СТАВКЕ

1.

Ответить на весеннее наступление немцев, — о чем, как о вполне решенном и вполне подготовленном, они кричали во всех своих газетах, — наступлением русских войск было, конечно, разумной мерой. Эта мысль принадлежала начальнику штаба верховного главнокомандующего Алексееву, олицетворявшему собою мозг русских сил, раскинувшихся от моря до моря. И для того, чтобы остановиться на этой мысли, согласиться с ней и подсчитать свои силы, были собраны главнокомандующие всех трех фронтов на совещание в Ставке 1 апреля под председательством царя.

Председательство царя, впрочем, всеми понималось, как присутствие на совещании, которое должен был вести и вел действительно Алексеев. Он и встречал приехавшего в Могилев утром в назначенный день Брусилова как хозяин Ставки.

Можно было по-разному относиться к этому седому высоколобому генералу, среднего роста, с простым русским лицом, но никто все-таки не отказывал ему в больших военных способностях.

Он вышел из нечиновной и небогатой трудовой семьи, этот генерал, которому

не было еще шестидесяти лет. Он не держался «за хвостик тетеньки», чтобы подняться на тот пост, какой занял, он и не добивался его, — просто, на этот пост был назначен и не принять его не мог.

Около десяти лет он прослужил офицером в пехотном полку, пока, наконец, тридцатилетним, начал готовиться в академию генерального штаба. Окончив академию, он был в ней потом профессором. В чине прапорщика он провел русско-турецкую войну 77—78 годов, а в русско-японскую был уже генерал-квартирмейстером 3-й Манчжурской армии. Когда в 1912 году начала бряцать оружием Австрия, было решено в Петербурге, что Алексеев станет начальником штаба армий, если разразится война, так что, запоздав на два года, война дала этим возможность Алексееву подготовиться к ней настолько добросовестно, насколько мог только он, с большой серьезностью относившийся даже и к маневрам в царском присутствии, которые в подобных случаях обращались в какие-то спектакли на огромной сцене.

Одно время он был начальником штаба у Иванова в Киевском военном округе и с тех пор привык относиться с большим почтением к этому бесталанному бородачу. Перед войной он командовал армейским корпусом в Смоленске, так что прошел все этапы как низшей, так и высшей офицерской службы, пока

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8.

не был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта, то-есть к тому же Иванову.

Но в марте 15 года он получил Северо-Западный фронт, а в августе того же года был вызван в Ставку, чтобы стать там тем, кем он был теперь.

Сухомлинов, когда был военным министром, не назначил (это было перед войною) Алексева начальником академии генерального штаба, когда освобождился этот пост, потому, что он, не имевший в детстве гувернанток французенок, не мог свободно говорить по-французски.

— Ну, как же он поедет во Францию на маневры, и как он один будет разговаривать с начальником французского генерального штаба? — говорил Сухомлинов.

Тогда начальником академии был назначен светский человек — генерал Янушкевич, который потом, с начала войны, был начальником штаба в Ставке. Заменить его пришлось Алексеву. Теперешний военный министр, бывший главный интендант, генерал Шуваев, был подстать хозяину Ставки: человек простых привычек, он, появившись в первый раз в столовой Ставки, мягко попросил себе постной пищи, а когда ему сказали, что постного тут ничего не готовят, пошел искать по городу подходящей для себя кухни, сказав при этом:

— Я человек старый и менять своего режима не могу.

Шуваев выделялся не только большим практическим умом, но и тем, что поколебал привычное представление в обществе об интендантах, как неуголимых хапугах.

Теперь он тоже приехал в Ставку из столицы, так как вопрос о наступлении был прежде всего вопросом снабжения фронта.

Генералы Эверт и Куропаткин явились со своими начальниками штабов, Иванов — в одиночестве, как состоящий при особе царя.

Брусилов не был участником японской войны, — эти же трое как бы принесли с собою незримо тот горький запах пора-

жений, который им неизменно сопутствовал в те дни.

Как у Шуваева была глубоко укоренившаяся привычка к постному столу, так и эти трое были привычно битые генералы.

О Куропаткине, бывшем в Манчжурии главнокомандующим и начальником Эверта и Иванова, ходило в военной среде что-то меткое четверостишие, в связи с поражениями, которые он нес от командующего японской армией — Куроки:

Куропаткину Куроки
на практике
Дает уроки
по тактике.

А один из великих князей назвал его Пердришкиным, производя эту фамилию от французского *perderie*, что значит куропатка.

Его назначение главнокомандующим Северо-Западного фронта состоялось незадолго перед тем, в начале февраля, когда пришлось отставить фон Плева по болезни, от которой он и умер. В Ставке появился маленький старый генерал, очень усердно кланявшийся всем, даже и молодым полковникам, смотревшим на него с недоумением, — кто он и зачем он в Ставке, хотя и видели, что он — полный генерал.

Даже когда стало известно всем, что этот маленький старенький генерал — Куропаткин, то, хотя это и вызвало к нему некоторое любопытство, никто не думал все же, что он появился потому, что получает высокое назначение.

Не было мало-мальски опытных генералов, поэтому пришлось вытащить из нафталина и Куропаткина, которого еще Скобелев аттестовал, как хорошего штабного работника и совершенно неспособного командира во время боевых действий.

Громоздкий Эверт имел куда более воинственный вид по сравнению со своим бывшим начальником. Всей осязкой он подчеркивал ежеминутно, что он птица весьма высокого полета.

У себя, в главной квартире Западного фронта, он любил писать приказы по армиям, причем вместо обычных, приня-

тых в русской азбуке, букв ставил такие готические палки, хотя и крупных размеров, что офицеры его штаба проводили все время только в том, что разбирали и расшифровывали его каракули. Иногда он приводил их в неподдельное отчаяние тем, что вместо одних слов писал другие, несколько сходные по начертанию, — например, написанное им «Мария» получало в тексте его приказа смысл только тогда, когда читалось как «армия».

Один гоголевский чиновник тоже писал вместо «Авдотья» — «Обмокни», но, во-первых, он делал это с умыслом, во-вторых, он не командовал фронтом.

Кажется, главнокомандующему фронтом должно бы быть известно, что ручные гранаты употреблялись еще в Крымскую кампанию, однако это не было известно генералу Эверту, почему он и писал в одном из своих приказов: «Из получаемых мною донесений видно, что употребление ручных гранат совершенно не налажено, причем в корпусах их возят в обозах или при саперных батальонах, а потому это новое средство к отражению неприятельских и поддержке своих атак, как ручные гранаты, может остаться неиспользованным до конца войны...»

Чтобы ни у кого, кто его видел за общим столом в его штабе, не возникало сомнения в том, что он, несмотря на немецкую фамилию, природный русский, он истово крестился и садясь за стол, и вставая, обедал ли он, завтракал или ужинал. Мало того, — он требовал этого же и от всех чинов своего штаба, как могли бы этого требовать только в бурсе от семинаристов.

2.

По сравнению с Каменцом-Подольском, хотя и страдавшим от налетов австрийских аэропланов, Могилев-губернский показался Брусилову чрезвычайно грязным, захудалым, вымирающим, несмотря на то, что в нем была Ставка.

Сеялся мелкий дождь из густых низких туч; трепал ветер порывами голые, еще рыжие деревья на бульваре; уныло тащилась мокрая худоробрая рослая пегая лошадь, вытягивая по рельсам на

главной улице небольшой линияльй зеленый вагончик городского «трамвая». Еврейская беднота сновала по тротуарам. Домишки были ошарпанные, облезлые, давно не видавшие никакого ремонта; и только одни полицейские на постах стремились держаться парадно, выставляя свои руки в белых нитяных перчатках из-под черных плащей, с которых скатывались дождевые капли.

Около царской Ставки грязи, правда, было меньше, порядка больше, но даже и в новизне кое-каких, наскоро, видимо, сделанных низеньких строений, похожих на бараки, сквозила какая-то убогость, а главное, лагерность, временность, неуверенность в прочности положения на фронте: строили в расчете на то, чтобы с большою легкостью можно было все это бросить и перекочевать дальше, в глубь страны, благо страна огромна.

Так как Брусилов не мог выехать в Ставку ни раньше царя, ни в одно время с ним, когда он уезжал из Каменца, и так как ему хотелось на месте подготовиться к тому, что он мог сказать на совещании, то оказалось, что и Куропаткин, и Эверт, и Шуваев явились раньше его, поэтому они, как и сам Алексеев, встретили его уже будучи в сборе. Кстати, они и поздравляли его с новым назначением с виду одинаково благожелательно к нему, но только у Алексея и Шуваева Брусилов уловил искренность и в тоне их слов, и в выражении лиц.

Обезьяноподобный великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор полевой артиллерии, находившийся в Ставке, как приглашенный на совещание, тоже поздравлял Брусилова, но не позаботился даже и на ногу изменить при этом свою глубоко безразличную ко всему внешность.

В руках Алексея Брусилов заметил свернутый в трубочку доклад, который он приготовил для совещания. Этим докладом совещание и началось, когда явился царь и когда все приглашенные, а также и начальники их штабов (Брусилов приехал с генералом Клембовским, Эверт с Квещинским, Куропаткин с Сиверсом) уселись по приглашению царя за стол, покрытый красным сукном.

Алексеев читал очень отчетливо, громко, делая особые ударения на тех местах, которым придавал большее значение, хотя значительно в этом совещании было все, так как на нем решалась дальнейшая судьба России, уже в достаточной степени потрясенной.

От быстрой смены впечатлений за последние дни, от их пестроты, при всей их важности лично для него, Брусилов чувствовал утомление, тем более, что он не успел и часа отдохнуть после дороги. И все же он заставлял себя следить, не пропуская ничего, за нитью алексеевского доклада.

Он понимал, в какое трудное положение попал этот способный человек при таком верховном главнокомандующем, как царь, ничего не понимающий в военном деле и теперь сидевший с видом манекена из окна парикмахерской. Полномочий быть хозяином не только Ставки, но и всего фронта Алексеев не имел и, конечно, не мог иметь; напротив, он в каждом отдельном случае должен был на свои одобрения и замыслы испрашивать разрешение царя, а это ставило его, человека и без того не очень сильной воли, в зависимость от человека с явно для всех пониженной психикой и воли более чем слабой.

Открывая совещание огромной государственной важности, царь не обратился к созванным им своим непосредственным помощникам с какою-либо хотя бы и самой краткой речью, как это сделал бы на его месте кто угодно другой; он только сказал милостиво, как говорил обычно за обедом в своем присутствии: — Кто желает курить, — курите.

И вынул свой серебряный портсигар, уже известный Брусилову, — серебряный потому, что императорский сервиз, взятый в Ставку, был тоже серебряный, — походный, не способный разбиться, как фарфоровый, при переездах с места на место.

Алексеев говорил о том, что решено произвести прорыв германского фронта ударом на Вильно, причем прорыв этот должен быть выполнен силами войск генерала Эверта. Для этого на Западный фронт должна стянуться вся тяжелая артиллерия, находящаяся в резерве;

для этого туда же будет направлен и общий резерв, находящийся в распоряжении верховного главнокомандующего. Однако не весь этот резерв: часть его предназначается для передачи Северо-Западному фронту, который должен собрать достаточно внушительный кулак, чтобы ударить тоже на Вильно, в прорыв, для его расширения и для выхода в более глубокий тыл германских войск.

Пока говорил это Алексеев — таким тоном, как будто решить поставленную Ставкой задачу было так же легко, как и поставить ее, — Брусилов наблюдал за лицами Эверта и Куропаткина.

Конечно, это не могло быть и не было для них новостью, но Брусилов заметил, как они выразительно переглянулись, эти бывшие «манчжурцы», точно были и в самом деле удивлены.

Но вот настала очередь удивиться, только по-настоящему, и самому Брусилову: его фронт объявлялся Алексеевым совершенно неспособным вести наступательные действия, почему и предполагалось, что он будет только обороняться до тех пор, пока не определится, что войска Западного и Северо-Западного фронтов достаточно далеко уже продвинулись на запад; только тогда может перейти в наступление и он, что будет вполне для него возможно.

Теперь Брусилов неотрывно глядел на одного только Иванова, который как-то пришипился, наподобие кота, только-что проведавшего шкаф со снедью.

Когда царь спрашивал в Каменце-Подольске, какие были у него, Брусилова, недоразумения с Ивановым, и Брусилов ответил, что никаких не было, он имел в виду только последнее время. Теперь он сидел и вспоминал, что происходило несколько месяцев назад, когда он собирал все силы для контратак против наседавших полчищ Макензена, отступая к реке Бугу.

Тогда от Иванова сыпались телеграммы за телеграммами с такой резкой критикой всех его действий, что он счел за лучшее приехать для объяснений к нему лично в Ровно, где была его штаб-квартира. Произошло объяснение не совсем обычного рода: Брусилов тогда ка-

тегорически поставил вопрос о доверии к нему, о том, чтобы его не дергали, чтобы над ним не было няньки, которая бы ежедневно вмешивалась в его действия, не имея понятия о том положении, какое создавалось на фронте его армии. Он даже предложил отозвать его и передать командование другому, если Иванов считает, что он не на своем месте.

В ответ на все это Иванов совершенно некстати начал ему рассказывать о каких-то случаях из времен японской войны, пытаясь этим развлечь его, успокоить и кончить дело ничем.

Теперь Брусилов видел, что столкновение в Ровно с Ивановым нашло отклик: несомненным для него было, что именно Иванов внушил Алексееву мысль о слабости Юго-Западного фронта, о полной невозможности для него наступать, и ему хотелось тут же, после окончания доклада Алексеева, встать и доказать то, что знал только один он среди всех, здесь собравшихся: Юго-Западный фронт наступать может и будет, если получит приказ это сделать.

Но Алексеев, который вел совещание, так как царь только курил и молчал, предоставил высказаться не ему, а Куропаткину, почтительно обратившись к нему:

— Алексей Николаевич, было бы желательно выслушать ваши соображения по данному вопросу!

Старичок поспешно попробовал левой рукой седенькую свою бороду, слегка кашлянул и заговорил, наклонившись в сторону царя, но взглядывая время от времени и на Алексеева:

— Я глубоко понимаю всю желательность наступательных действий. Не может быть никакого сомнения, что только они одни могли бы принести вполне осязательные и крайне необходимые результаты, соответственные и величию, и достоинству России. Но я знаю, к сожалению, и то, насколько сильны немецкие позиции, лежащие против всего вообще моего фронта, а в особенности в направлении на Вильнюс... В особенности, повторяю, в этом направлении, как наиболее существенном, как для нас, так, в равной степени, и для нашего сильного

противника. Разве не делалось уже попыток, как с моей стороны, так и гораздо более серьезных со стороны Алексея Ермаловича (повернул он голову к Эверту), однако они были безрезультатны. Точнее, — результаты были, но совершенно отрицательные: огромные потери у нас и едва ли большие у немцев, а прорыва не получилось.

Что необходимо для успеха дела? Это известно: наличие тяжелой артиллерии и неограниченное количество снарядов к ней. Есть ли это у нас? — Насколько я знаю, тяжелой артиллерией мы не богаты. На что же мы можем рассчитывать? На то, что она у нас в скором времени будет? Едва ли я ошибусь, если скажу, что надеяться на это мы не можем. Имеем ли мы право надеяться на то, что немцы сейчас и дальше, скажем, в мае, есть и будут слабее, чем они были в истекшем марте или в феврале? Нет оснований у нас на это надеяться. Наш противник был силен и будет оставаться таким же. Так что единственный вывод, к которому я прихожу, взвесив все «за» и все «против», это продолжать стоять на занимаемых нами позициях и постараться защитить их, если неприятель перейдет в наступление. Что же касается активных действий с нашей стороны, то они невозможны.

Тут Куропаткин остановился, вопросительно поглядел на царя, увидел полное равнодушие в заволоченных голубым дымом свинцовых царских глазах и умолк, решив, что дальше говорить незачем.

Брусилов сделал нетерпеливое движение, но его готовность возразить Куропаткину предупредил Алексеев. Слегка приподнявшись на месте, он сказал, точно продолжал начатый раньше дружеский спор, мягко и ни для кого не обязательно:

— С вашим взглядом на невозможность наступления не только на Северо-Западном фронте, мне достаточно хорошо известно, но и на Западном, я не могу согласиться. Наступать на обоих этих фронтах мы не только должны, но и можем. А что касается поднятого вами вопроса о тяжелых снарядах, об их у нас недостатке, то это мне, к сожалению,

нию, приходится подтвердить. Да, у нас мало и тяжелых орудий, но совершенно недостаточно снарядов к ним. Следовательно, надо изыскать способы и средства к устранению этого недостатка. — Тут он обратился к Шуваеву: — Быть может, какие-либо светлые перспективы может нам указать Дмитрий Савельевич?

Человек приземистый, плотный и деловито-спокойного вида, Шуваев отозвался на этот вызов неторопливо, но тоном, не допускающим сомнений:

— Наша военная промышленность дать тяжелые снаряды в большом количестве пока не может. Остается только ожидать, когда их могут доставить наши союзники, но этот процесс, — доставка из-за границы теперь, морем, — сделался чрезвычайно сложен, тем более, что ведь и союзникам нашим дозарезу нужны те же тяжелые снаряды: у себя оторвать, когда у тебя самого не хватает, на это кто же решится? Своя рубашка ближе к телу. Слов нет, должно наступить время, когда производство тяжелых снарядов там, за границей, перекроет потребность в них, но этим летом такого положения не будет во всяком случае.

Он умолк сразу и с сознанием честно исполненного долга, — это заметил Брусилов по выражению облегченности на его широком лице.

Конечно, Алексеев не думал, что великий князь скажет что-нибудь для него новое, когда обратился потом к нему, но Брусилов понимал, что этого требовал весь ритуал совещания в царском присутствии, и Сергей Михайлович, поерзав по сморщенному немудрому лбу весьма подвижными бровями, заявил, что военный министр вполне в соответствии с фактами обрисовал тяжелое положение с тяжелыми снарядами; как генерал-инспектор полевой артиллерии, он может только подтвердить это.

— Но зато, — оживленно добавил он, — легкие снаряды имеются у нас в изобилии. Легкими снарядами мы можем буквально засыпать фронт. Так что если бы для наступления достаточно было бы одной только легкой артил-

лерии и снарядов к ней, то в этом отношении мы богаты.

Алексеев склонил голову, как склонял ее человек, вполне покорный неизбежной судьбе, но, сделав рукой пригласительный жест в сторону Эверта, добавил к этому жесту многозначительно:

— Ваш фронт, Алексей Ермолаевич, мы считаем и наиболее сильным, и наиболее важным. Имея в виду на помощь вашему фронту бросить почти все резервы, просим вас отвечать на поставленный вопрос о возможности наступления, приняв во внимание именно это: все или почти все резервы — вам!

Брусилов не то, чтобы питал к Эверту какие-либо личные чувства неприязни, — он его слишком мало знал для этого, — но он просто не признавал в нем способностей, необходимых для руководства фронтом.

Он знал, что Эверт, как и его бывший начальник Иванов, никогда не бывает на позициях, ограничиваясь чтением телеграфных донесений, хотя сам же поднимал в Ставке вопрос о том, что донесения эти сплошь и рядом бывают лживы, что лгут все от мала до велика, чтобы или представить положение лучше или обрисовать его гораздо хуже, чем оно есть, в зависимости от того, что для них полезней в смысле получения наград и продвижения по службе, и что не лгут одни только солдаты, которые совершают иногда чудеса героизма, но донесений не пишут.

Брусилов считал также, что последняя операция Эверта, когда он потерял чуть ли не сто тысяч человек, не удалась потому, что была поручена совершенно неспособному генералу Плешкову, что она была подготовлена из рук вон плохо, что для нее было выбрано совершенно неподходящее время: главнокомандующий фронтом преступно-непростительно оттягивал начало операции и был захвачен во время ее развития бурным таянием снегов, сделавшим ее продолжение невозможным.

Брусилову чудилась какая-то умышленность, злостность со стороны Эверта во всем, что тогда делалось на Западном фронте при его попустительстве.

От его выступления теперь он ожидал только открытого нежелания наступать, и не ошибся, конечно.

С первых же слов Эверт заявил, что вполне разделяет мнение Куропаткина, но, в полную противоположность униженно и виновато склонявшемуся над столом в сторону царя апостолу «терпения, терпения и терпения», Эверт не поступился ни одной нотой из своего вполне благополучного, молодцеватого вида.

— Оборонительные действия — это все, что мы можем вести на всех фронтах и, в частности, на вверенном мне Западном, — говорил он с большой авторитетностью в голосе жирного тембра. — Наступать при отсутствии у нас тяжелой артиллерии — это значит совершенно бесполезно дела истреблять людей, как бы значительны у нас ни были людские резервы. Как можно верить в успех наступления, когда попытки к этому уже были и окончились для нас весьма печально? Другое дело, если у нас будет тяжелой артиллерии и снарядов столько же, сколько у нашего противника, — тогда... тогда мы можем быть уверены в полном успехе защиты наших позиций, так как сейчас мы и в этом не вполне уверены, а для наступления мы должны быть сильнее противника по крайней мере вдвое, если не втрое. Вот все, что я могу сказать на основании своего опыта в наступательных действиях.

Совершенно неожиданно для Брусилова его неприязнь к Эверту, укрепившаяся после таких слов, как бы перекинула мост к тому, с чем мог выступить он непосредственно тут же, когда в его сторону обратился Алексеев, сказав не-то с улыбкой, не-то с какою-то надеждой, осветившей подобно улыбке его простонародное курносое лицо:

— Ну, вот! Теперь хотелось бы выслушать вас, Алексей Алексеевич!

Хотя Брусилов и не готовился предварительно к речи, понимая, что это совсем не нужно, но он был в достаточной степени переполнен доводами в пользу если не наступления вообще, то наступления именно со стороны своего

фронта, чтобы и начать горячо и продолжать убежденно:

— Я слышал сейчас неоднократные заявления о том, что у нас нет или почти нет, что по существу одно и то же, тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, и, признаюсь, весьма удивлен, что ничего не слышал о наших недостатках в авиации. А между тем, говоря о тяжелой артиллерии, не мешает вспомнить и о том, что мы не в состоянии корректировать навесного огня, потому что не имеем хоть сколько-нибудь порядочных аэропланов в своем распоряжении. В этом отношении противник решительно подавляет нас и количеством аппаратов, и уменьем ими пользоваться. Наши «Ильи Муромцы» оказались, ввиду их громоздкости, непригодными для дела, да их и мало: на моем фронте их совсем нет. Заграничные аппараты в большинстве своем износились, и если кому в состоянии принести ощутительный вред, то это — самим же нашим летчикам. Меня поражает, что мы, столько претерпевшие от неприятельской авиации, все еще недооцениваем этого средства борьбы. У нас были неудачные попытки наступления, и я считаю большой беспечностью с нашей стороны, что мы не изучили всесторонне причин наших неудач, как будто они касаются только одного, скажем, Западного фронта, а не всех других фронтов. У нас, несомненно, есть много недостатков и в повседневном управлении войсками, и в снабжении их боевыми припасами, и во многом другом, и все-таки я беру на себя смелость утверждать, вопреки высказанным здесь мнениям главнокомандующих Западным и Северо-Западным фронтами, что мы наступать можем!

Тут Брусилов остановился на момент, чтобы приглядеться к выражению лиц царя и Алексеева. Царь смотрел на него в упор, но без малейшего выражения в глазах, Алексеев же, как ему показалось, удовлетворенно наклонил голову.

— Не может быть никакого сомнения, что общее состояние чужих фронтов знают гораздо лучше меня их главнокомандующие. Прошли считанные дни,

как я сам принял врученный мне Юго-Западный фронт. Мне могут сказать, что я и его не знаю, а знаю только свою бывшую восьмую армию, с которой провел много месяцев и которую испытал во многих боях. Но зато я знаю, — уверен, что знаю и очень хорошо знаю, — секрет наших общих неудач: он состоит в отсутствии согла-со-ванности действий.

На огромном общем фронте нашем собраны громаднейшие силы, и численно мы гораздо сильнее нашего противника. Чем же объяснить то, что, когда бы и где бы мы ни вздумали наступать, он в конечном счете оказывается сильнее нас в этом именно пункте и осаживает нас назад? Ответ простой: противник несравненно более подвижен и к раненному нами месту сейчас же притягивает не только закупорку, но и внушительные силы для контратаки. Откуда же он берет эти силы? Из общего резерва? Отнюдь нет: с другого участка своего фронта, против которого наш фронт совершенно бездействует. Из вашего доклада, Михаил Васильевич, — обратился он к Алексееву, — я услышал, что Юго-Западный фронт к наступательным действиям неспособен.

Я не знаю, на основании чего вынесен этот поистине смертный приговор вверенному мне фронту. Мне кажется, что тут что-нибудь одно из двух: или, вручая мне этот злополучный фронт, меня самого, так сказать, выводят в тираж, исходя из принципа: «по Сеньке и шапка» или «каждый сверчок знай свой шесток», или же, на что я и надеюсь, Юго-Западный фронт доверен мне за тем, чтобы он доказал свою боеспособность под моим руководством. Если я так именно понимаю свое назначение, как оно было предположено высочайшей волей, то мне ничего и не остается больше, как доказать, что я достоин выраженного мне доверия. Стоять в стороне в спокойной позе наблюдателя в то время, как не на жизнь, а на смерть дерутся рядом мои товарищи, я никогда не был способен. Я всегда держался старинного суверовского завета: «Сам погибай, а товарищей выручай!» И теперь я осмеливаюсь думать, что

если ударные задачи будут возложены верховным командованием на Западный и Северо-Западный фронты, то они не минуют и Юго-Западного. Пусть я не добьюсь даже успеха, но зато, несомненно, я значительно облегчу задачу, которая будет решаться к северу от меня. Я привлеку на свой фронт резервы противника и этим его обессилю в других направлениях. Если на это мое предложение можно мне что-нибудь возразить, то я выслушаю возражение с величайшим интересом, на какой я способен.

Брусилов чувствовал большой подъем, когда говорил это, но когда он посмотрел на царя, прозрачно окутанного табачным дымом, то увидел, что царь зевал.

Это был не короткий, прячущийся зевок, а очень длительный, самозабвенный, вызывающий на глаза слезы.

Конечно, царь плохо спал в своем вагоне, пока ехал сюда, но ведь и все здесь, кто приехал на совещание, едва ли спали лучше. Брусилов вспомнил, что и сам он в истекшую ночь спал не более двух часов. Зевота царя его оскорбила. Зато Алексеев глядел на него вполне благожелательно, и теперь уже ясно было, что он улыбался.

Алексеев сказал, выждав с полминуты, когда он закончил:

— Я ничего не могу возразить против вашего, Алексей Алексеевич, желания принять в наступлении участие и своим фронтом. Но только я считаю долгом предупредить вас, чтобы вы не надеялись напрасно: мы ничего на ваш фронт дать не можем: ни тяжелых орудий, которых у нас в резерве в обрез, ни больше, чем вашему фронту придется получить по разверстке, снарядов для тех орудий, какие у вас имеются. Это настоятельно прошу иметь в виду.

— Да ведь я и не заявлял, что надеюсь получить что-нибудь, кроме того, что имею, — отозвался на это Брусилов. — Для меня будет важно уже и то, что я делаю общее дело вместе с другими, что я не изгой, что фронт мой не какой-то заштатный, и только. Зато ведь я и не обещаю непременно никаких

особенно блестящих успехов: я не мечу в какие-то Наполеоны, я не юноша. Роль вытяжного пластыря для резервов противника, вот и вся скромная роль, на которую я прошусь, но по крайней мере я буду знать, что вместе со всеми чинами своего фронта буду в свое время занят полезным делом, а не обречен бить баклуши.

Алексеев совершенно успокоенно и даже благодарно, как показалось Брусилову, кивнул раза два ему головой и перевел ожидающие глаза на Куропаткина. Тот понял, что после заявления Брусилова ему необходимо выступить снова, что Брусилов поставил его в неловкое положение. И он заговорил, стараясь все же избегать какой-нибудь определенности:

— Разумеется, если только от меня не будут требовать успеха во что бы то ни стало, то наступать могут и вверенные мне войска. Наступать хотя бы для того, чтобы создать затруднительное положение для противника в смысле свободного распоряжения резервами, когда будут развивать свой удар армии Западного фронта.

Пришлось сказать несколько слов в том же духе и Эверту:

— Это совсем другая постановка вопроса, когда требование непрямого успеха, при том успеха крупного, решающего чуть ли не всю кампанию, снимается и остается просто наступательное действие, а там уж что выйдет, то выйдет. При таких условиях, конечно, свою долю пользы общему делу может принести и вверенный мне фронт.

— В таком случае, как полагаете, можете ли вы быть готовы к наступлению в первые же дни, как позволит это установившаяся погода, — скажем, к середине мая? — быстро спросил его Алексеев.

— К половине мая? — переспросил Эверт, поглядев при этом на Куропаткина. — К половине мая, пожалуй, да. Думаю, что смогу подготовиться.

— А вы, Алексей Николаевич? — также быстро атаковал Алексеев ученика Куроки.

— К половине мая? — счел нужным

повторить и тот. — То-есть через шесть недель? — он посмотрел вопросительно на Эверта и ответил: — Думаю, что это достаточный срок.

— Отлично! Очень хорошо! — заметно повеселел Алексеев. — Вас, Алексей Алексеевич, не спрашиваю, — добавил он.

— Да, разумеется, я постараюсь подготовить свой фронт к середине мая, — сказал Брусилов, взглянув при этом на царя.

Царь снова затажно и судорожно зевал.

3.

Так как подошло время завтрака, то совещание было прервано, хотя оно должно было рассмотреть и обсудить много еще вопросов более мелкого характера, — по части снабжения войск продовольствием, оборудования медицинской помощи, бань и прочего, приобретающего теперь немалое значение, раз наступление в мае было решено.

Завтракать все были приглашены в дом к царю.

На охране всей Ставки числилось полторы тысячи человек, но, конечно, особо тщательно охранялся дом, в котором жил царь, когда приезжал в Ставку. На отдельных площадках около дома размещены были пулеметы для защиты от цепендинов.

Дом этот был двухэтажный. Там были и парные наружные часовые, и казаки-конвойцы внутри, и лакеи, и скороход—лицо немалых полномочий. Кроме того, весь дом был наполнен лицами царской свиты, начиная с неизбежного «генерала от кувакерии» Войкова, гофмаршала князя Долгорукова и других свитских генералов и кончая флигель-адъютантами. Фредерикс появился несколько позже вместе с начальником конвоя графом Граббе и флаг-капитаном адмиралом Ниловым.

Зал был не слишком обширен и небогато убран: белые обои, недорогие портьеры, бронзовая люстра, рояль, портреты отца и матери царя в багетовых овальных рамах и стулья вдоль стен.

Здесь царь здоровался с теми, кого

не видал в этот день, потом, пригласив движением головы ближайших к нему в столовую, первым вошел в отворенную перед ним настежь изнутри дверь.

Гофмаршал Долгоруков, со списком царских гостей в руках, указал каждому его место за большим столом. Брусилов невольно улыбнулся, глядя, с какой серьезностью он это проделывал, и представляя в то же время, сколько пришлось ему ломать голову, кого куда посадить, чтобы соблюсти и общие правила, — визави царя, например, всегда садился граф Фредерикс, — и примениться к обстоятельствам такого экстраординарного случая, как сбор в Ставке главнокомандующих фронтами и их начальников штабов.

Рядом с царем были посажены: по одну сторону — великий князь Сергей Михайлович, по другую — Алексеев. Рядом с Фредериксом — Иванов и Куропаткин. На них двоих пришлось смотреть во время завтрака Брусилову, так как он сидел рядом с Алексеевым, и потому завтрак в Ставке очень живо напомнил ему обед в салон-вагоне Иванова: как там, так и здесь Иванов сидел обиженно, молча.

Так же молчалив был он, впрочем, и на совещании, но там случилось Брусилову поймать обращенный к нему тяжелей, не-то презрительный, не-то ненавидящий взгляд: это было как-раз в то время, когда он говорил о возможности наступления.

Брусилов понимал, конечно, что ничего сложного не происходит теперь в темной душе этого старого бородача — только тяжкое оскорбление, нанесенное ему тем, что он, считавший себя незаменимым, заменен своим бывшим подчиненным. Даже Фредерикс, повидимому, понимал, что к нему лучше не обращаться с разговорами, и говорил только с Куропаткиным.

Перед каждым завтракавшим стояли серебряные стопки для вин, причем вина были в серебряных же кувшинах, — однако этим и ограничивалась вся роскошь царского стола в Ставке: на войне, как на войне.

Умилительно было наблюдать, как

Фредерикс и Куропаткин, оба старые царедворцы, стремились превзойти друг друга в изысканной угодливости, но Брусилов, которому Куропаткин последних лет был не вполне известен, с интересом наблюдая его, не мог не заметить, что и тот наблюдает его довольно пристально.

После завтрака Куропаткин неожиданно для Брусилова подошел к нему, взял его за локоть, отвел в сторону и заговорил пониженным голосом:

— Послушайте, Алексей Алексеевич, — я в полном недоумении был, когда вы говорили, что можете наступать!

— В недоумении? — повторил тоже недоуменно Брусилов. — Почему же именно, Алексей Николаевич? Да, я вполне могу наступать на своем фронте, — тут никакой решительно натяжки нет.

— Вы можете?.. Впрочем, если даже вы думаете, что можете, то ведь это заставило и меня тоже сказать, что и я могу, а между тем я вполне убежден, что наступление наше окончится провалом.

Маленький старик-полководец, говоря это, совсем потерял всю свою недавнюю приторность, он оказался теперь необычайно серьезен.

— Провалом или успехом, — этого мы с вами не можем знать наперед, Алексей Николаевич, — столь же серьезно сказал Брусилов. — Наконец, роль вашего фронта, насколько я понял, будет вспомогательная, а главная выпадает на долю Западного.

— Западного? — Куропаткин быстро оглянулся, ища глазами Эверта, и продолжал почти шопотом: — Западный, кажется, доказал уже, что наступать он неспособен. Каких же еще нужно доказательств, если его мартовская операция для вас неубедительна? Я чрезвычайно сожалею, что не был осведомлен заранее о ваших взглядах на этот предмет. Мне кажется, я мог бы поколебать вас в этом решении вашем, если бы знал о нем. Генерал Эверт тоже изумлен, — я успел перекинуться с ним двумя словами. Однако, мне думается, еще не поздно заявить о том, что вы... как бы

это выразиться... переоценили возможности своего фронта и недооценили нашей общей бедности в снаряжении. Вот вы же говорили, что у нас очень мало аэропланов. Да, да, конечно, до смешного мало сравнительно с немцами! Как же мы можем надеяться на успех, когда мы — слепые, а они зрячие? Они о нас будут знать решительно все в то время, как мы о них ничего! Какой же успех мы можем иметь, — не понимаю.

— Успех зависит от очень многих причин, — сказал Брусилов, — а самое главное, от того, как будут вести себя войска.

— Вот видите! — подхватил Куропаткин. — Как будут вести себя войска? — Отвратительно будут они себя вести, — ниже всякой критики будут себя вести, — вот как!.. Алексей Алексеевич, прошу вас выслушать мой совет, — переменял он тон на вкрадчивый и сладкий. — Совещание еще не закончилось. Поднимите этот вопрос снова под предлогом внести в него ясность!

— Поднять вопрос снова? Зачем? — удивился Брусилов. — Чтобы его перешили?

— Разумеется! Разумеется, именно за этим!

— Нет, Алексей Николаевич, — этого я не сделаю, — твердо сказал Брусилов, и Куропаткин потемнел и начал смотреть на него с сожалением.

— Охота же вам рисковать всей своей военной карьерой! — покачал он сокрушительно головой. — Ваше имя сейчас стоит высоко. Вы получили фронт за боевые заслуги в этой войне, и вам бы надо было по-бегать свой ореол, а вы сами подвергаете его опасности!.. Раз о вашем фронте сложилось в Ставке убеждение, что он небоеспособен, — и превосходно! В наступление, значит, не переходить, своим новым постом не рисковать, шеи себе не ломать, — чего же вам больше? Какую пользу, скажите мне, желаете вы извлечь из поражения, которое совершенно неизбежно?

— Польза мне лично? — оскорбленно вскинул голову Брусилов. — Я индустриалец и желаю пользы только для России, а совсем не для себя! Поста командующего я не искал, и он свалился

на меня, как полная неожиданность, и, если для дела, для пользы службы России, а не моей личной, меня отчислят за негодностью в отставку с назначением ли в Государственный Совет, или даже без такой любезности, я несколько не буду этим оскорблен или огорчен, поверьте!

Последние слова вырвались у Брусилова потому, что он вспомнил Иванова. Куропаткин же, как бы испуганный даже нетактичностью своего собеседника, который незаметно для себя несколько повысил голос, поспешно отошел от него, вздернув плечи.

После завтрака совещание продолжалось еще несколько часов, но вопрос о наступлении уже никем не поднимался больше, — он считался решенным как Алексеевым, так и царем, который звал теперь совершенно неудержимо.

Совещание закончено было к обеденному часу. Обедали в той же царской столовой. Тут же после обеда главнокомандующие разъехались, едва успев проститься друг с другом и ни одним словом не обменявшись по поводу будущих совместных действий.

Единственное, что подметил Брусилов в лице царя, когда откланивался ему, было довольное выражение, что, наконец-то, скучнейшее совещание он кое-как высидел и теперь может уснуть.

Брусилов не знал, однако, что был человек, покушавшийся на это вполне законное предприятие монарха величайшей империи в мире. Человек этот был «состоящий при особе царя» Иванов.

Он вдруг обрел дар речи, оставшись около царя, когда разошлись почти все другие. Он имел чрезвычайно взволнованный вид, и голос его дрожал, когда заговорил он:

— Ваше величество, умоляю вас, верноподданнически умоляю вас, — предостратите!

— Что такое? Что с вами?.. Что я должен предотвратить? — изумленно спрашивал его царь, совершенно не понимая, что творится с крестным отцом его единственного сына.

— Предостратите наступление, ваше величество! — выдавил горлом Иванов, так как его душили спазмы. — Бруси-

лов — гнусный карьерист, — вот кто он, — я давно его знаю... он погубит все армии моего фронта!.. Он послужит причиной гибели и армий всего Западного фронта! Он все дело обороны России погубит, ваше величество!

Иванов сделал такое движение, как будто хотел упасть на колени, и царь едва удержал его. Тем недовольнее он глядел на него сквозь узкие щели отяжелевших век и сказал, наконец:

— Почему же там, на совещании, вы не заявили об этом? Ведь вас никто не лишал права выразить мнение... больше того: вы затем и были приглашены на совещание, чтобы высказаться по этому вопросу.

— Я не предполагал, ваше величество, я отказывал себе в мысли допустить, что подобное решение будет принято! — не совсем внятно от душивших его чувств проговорил Иванов, приложив обе руки к сердцу в знак доказательства полной правдивости своих слов, однако он рассчитал плохо.

Был ли причиной тому совершенно неподходящий момент, — ведь говорится, что сон милее родного брата, — или царем были приняты в уважение другие, гораздо более серьезные причины, только он несколько брезгливо и даже в нос отозвался Иванову:

— Теперь во всяком случае вы докладываете мне ваше мнение очень поздно. Решение об открытии наступательных действий принято на совещании и внесено в протокол. Перерешать этот вопрос не будет.

И он отошел от Иванова, который понял, наконец, что возврата к деятельности полководца ему уже больше не будет, что «состоять при особе царя» ему совершенно незачем, что это только позолота горькой пилюли, что единственное осталось ему — отправиться в Петроград, где можно поселиться на казенной квартире с видом на Неву, числиться по Государственному Совету, читая газеты с осторожными статьями о неудачах наступления на всех фронтах, доказывать другим, таким же отставным, как и он, что был в свое время совершенно прав, но его не хотели слушать, и запоем писать мемуары.

Глава жятая НАЧАЛЬНИК ДИВИЗИИ

1.

Только-что вернувшись из Ставки в Бердичев, Брусилов разослал телеграммы командующим всех четырех армий своего фронта с приказом собраться в Волочиске.

Он не хотел терять ни одного дня в подготовке наступления. Волочиск был выбран им потому, что был гораздо ближе к линии фронта, чем Бердичев, и добраться до него участникам Военного Совета было удобнее и скорее.

И вот они сидели за общим столом для того, чтобы обдумать общее мероприятие огромной важности — наступление на Юго-Западном фронте, который, по мнению Ставки, к наступлению был совершенно неспособен.

И Щербачев, и Крымов, и Сахаров, и тем более Каледин, — все эти четыре генерала были гораздо лучше известны Брусилову, чем Эверт и Куропаткин, а главное, — они были его подчиненные. Однако даже исполнять прямые приказы они могли всячески, — это зависело от того, насколько они сами способны были верить в успех общего дела.

Еще не открывая беседы с ними, Брусилов вглядывался в их лица, стараясь угадать, можно ли их зажечь тем огнем, какой горел в нем самом. Он переводил глаза с одного на другого, но убеждался, что видит обычные их выражения: внешнюю настороженность, какую особенно ярко проявлял в Ставке и Куропаткин, прикрывавшую глубокое внутреннее равнодушие.

Даже наиболее молодой из его помощников, Крымов, — человек большого роста, вполне картинный боевой генерал, — и тот сидел с таким видом, как будто иронически думал про себя: «Послушаем, послушаем, что ты такое скажешь!»

Всплывшее, точно искусанное пчелами, лицо Сахарова вообще выразительностью не отличалось, и здесь он спокойно-загадочно глядел узенькими, как у калмыка, глазками, выжидая.

Каледин, взявший в свои руки восьмую армию, к которой Брусилов питал вполне понятное доверие и на которую надеялся больше, чем на другие, имел заранее обреченный, понурый вид, а Щербачев, испытавший такую крупную неудачу в декабре, хотя и старался держаться так, как будто ничего особенного с ним не случилось, а главное, — он совсем не виноват, — но маска привычной самоуверенности плохо держалась на нем.

С выздоровлением генерала Лечицкого, испытанного уже руководителя девятой армии, Крымов, правда, должен был вернуться к своему корпусу, но ведь и от действий этого корпуса тоже многое могло зависеть при наступлении. И Брусилов перебирал в памяти известных ему по-наслышке или лично командиров корпусов в других армиях, кроме бывшей своей восьмой. Ему хотелось подвести как можно более прочный фундамент под то свое убеждение, какое он с большой энергией отстаивал в Ставке, — что Юго-Западный фронт может наступать и будет, поэтому он медлил открывать совещание.

Но и открыл он его, наконец, только затем, чтобы передать решение Ставки и свое. Он так и начал немногословно и категорично:

— Я счел необходимым, господа, со всей возможной успешностью, притом лично, поставить вас в известность, что на совещании в Ставке решено: в наступлении, предпринимаемом в первых числах мая Западным и Северо-Западным фронтам, принять активное участие и нашему фронту. О мерах подготовки к этому наступлению мне и хотелось бы поговорить с вами, поскольку каждый участок фронта имеет свои особенности.

Сказав это, Брусилов сделал намеренную паузу. Он не думал, конечно, что слова его явятся новостью: он сам приехал с начальником своего штаба, генералом Клембовским, и командующие армиями взяли сюда с собой своих начальников штабов, — при таком многолюдстве нельзя было и надеяться ошеломить слушателей новостью, — но ему хотелось все-таки проследить бегло за выражением лиц, а потом пойти дальше.

Однако его пауза понята была Щербачевым, как предлог к дебатам. Он поднялся, узкий, худощавый, стремительный, и заговорил вдруг торжественно:

— Алексей Алексеевич, вы знаете, что я всегда предпочитал наступательные действия оборонительным по той простой причине, что оборона, как бы она ни была блестяща, никогда не приводила и по самой сути своей не может привести к победе. Но в данное время я считаю своим долгом доложить вам, что вверенная мне седьмая армия, по общему состоянию своему, к наступательным действиям совершенно неспособна.

— Это все, что вы хотели сказать? — сухо спросил его Брусилов.

— Я могу развить это общее положение, перейдя к частностям, — сказал Щербачев.

— В этом никакой надобности нет, — перебил его Брусилов. — Состояние вашей армии мне известно, также и других армий. И такого вопроса, может или не может та или иная армия наступать, я прошу всех вообще не поднимать на этом нашем собрании. Раз вопрос о наступлении решен в Ставке под председательством верховного главнокомандующего, то как же можно заявлять тому или иному из командующих армиями: «Я наступать не в состоянии»? Решение Ставки — это приказ, а приказ должен быть выполнен. Значит, о чем же мы можем говорить и что именно обсуждать сегодня? Только и исключительно об одном и одно: какими способами можем мы выполнить приказ о наступлении, что необходимо для этого сделать?

Сказав это, Брусилов снова сделал паузу, длившуюся всего несколько секунд, но за эти секунды он успел заметить, как выразительно переглянулись два старших командующих армиями — Щербачев и Сахаров, — и оба младших, недавние корпусные командиры — Каледин и Крымов. Он видел, что им не понравился даже самый тон, каким заговорил с ними новый главнокомандующий фронтом (Иванов не говорил таким тоном), поэтому он решил укрепить на

заседании именно этот тон, сделать его категоричней, чтобы сразу пресечь всякую возможность кривотолков.

— Я очень прошу вас всех, — продолжал он, попеременно глядя при этом то на Щербачева, то на Сахарова, — отнестись к тому, что я сказал уже и что буду развивать в дальнейшем, не только как к приказу, полученному мною в Ставке, но и как к моему личному приказу. Требую от вас отнестись к задаче нашего майского наступления сообразно с правилами воинской дисциплины, от которой вы не только не избавлены своими высокими постами в русской армии, но которую, именно ввиду этого, вы-то и должны в первую голову соблюдать. Поэтому никаких отговорок ни от кого я не приму, и самое лучшее с вашей стороны будет, чтобы они вами не поднимались.

После таких полновесных слов глаза всех, сидевших за столом, обращены были только на Брусилова, точно он стал освещен вдруг вспышкой магния. Сам же Брусилов, видя это и хорошо зная генеральскую среду, понял, что не столько его резкий тон, не столько смысл его слов произвели впечатление на этих косных людей, сколько убеждение, появившееся, конечно, у каждого, что их новый главнокомандующий получил от царя в Ставке какие-то необыкновенные полномочия, каких не имел даже Иванов, несмотря на свою близость ко двору.

Поймав это выражение на всех лицах, Брусилов продолжал говорить дальше уравновешеннее и спокойнее, так как основное им было уже достигнуто:

— Показывая его величеству девятую армию в Каменце-Подольске и около него, я удостоился благодарности государя за тот порядок, в каком были найдены части, хотя заслуга тут была не моя, а генерала Лечицкого. Порядок этот, действительно, никак иначе нельзя и назвать, как только образцовым. Я вполне убежден, что подобный же порядок найду и в одиннадцатой, и в седьмой армиях, которым назначу смотреть в ближайшие дни. О своей бывшей восьмой не говорю, так как ее очень хорошо знаю.

Что нам всем известно из опыта последнего года войны? Я не ошибусь, конечно, если суммирую этот опыт в немногих словах: наступательные действия противника удаются, как, например, всем хорошо памятный прорыв фронта третьей армии Макензеном, и приводят к неисчислимым потерям, а наступательные действия наши не удаются, как это мы видим на примере седьмой армии в Буковине и Галиции или как недавнее наступление на Западном фронте, у генерала Эверта. Возникает естественный вопрос: почему то, что удается противнику, не удается нам?

Тут Брусилов сделал было новую паузу, вопросительно глядя при этом на Щербачева, однако, чуть только тот несколько приподнялся, чтобы сказать, конечно, всем уже набившие оскомину слова о недостатке снарядов и вообще технических средств, Брусилов сделал ему рукою останавливающий жест и ответил на свой вопрос сам:

— Все дело только в тактических приемах, которые наши руководители наступлений стремятся слепо заимствовать у немцев вместо того, чтобы создавать сообразно с обстоятельствами свои приемы. Прием немецких тактиков грубо прост и остается пока неизменным, а именно: собирается кулак против намеченного для прорыва места, и множество собранной артиллерии начинает долбить позиции, пока не пробьет брешь, в которую бросается пехота, а потом конница пускается по тылам, вот и все. Приказываю, — повысил он голос, — этот немецкий прием в нашем готовящемся наступлении решительно отбросить!

Генералы переглянулись в недоумении, а Брусилов, который и не ожидал ничего другого, продолжал уверенно и спокойно:

— В дело должен быть введен другой прием, тоже, разумеется, весьма простой, но почему-то до сего времени никем не применявшийся: каждая из четырех армий вверенного мне фронта должна наметить свой участок для прорыва фронта противника, и, сообразно с тем, какая из армий будет действовать

удачнее других, ее успех незамедлительно будет поддержан и развит силами общешфронтового резерва. Но, кроме того, некоторые корпуса, — тут Брусилов проникновенно посмотрел на Крымова, — тоже должны будут начать земляные работы, как подготовку к наступлению, причем это, разумеется, неминуемо станет известным противнику и неминуемо же собьет его с толку относительно настоящих направлений прорыва в каждой из армий. Противник будет видеть сверху, с аэропланов, и будет фотографировать, конечно, нашу подготовку на боевое сближение с ним в одном месте, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, наконец, — и куда же именно командование его должно будет стягивать свои резервы? Между тем, резервов у него немного, это известно нам. Вся сила его заключалась только в том, что эти резервы он умел стягивать к одному, нужному в тот или иной момент пункту, а мы этого не умели делать. Чем же он превосходил нас? Только ли тем, что у него была более совершенная техника и более развитой транспорт? Нет, еще и тем, и главным образом тем, что держал в своих руках инициативу. Этот-то шанс мы и выйдем из его рук, когда начнем наступление сами.

Брусилов говорил долго, так как ему было о чем говорить, и с подъемом, так как здесь, в кругу своих ближайших помощников, он уже почти осязательно представлял, во что может вылиться задуманная им операция при одном только условии, — если на фронте той армии, которой удастся прорыв, сумеют ковать железо, пока горячо, не дадут остыть развязанной энергии войск. Эта армия, на долю которой выпадет успех, должна быть, по его мнению, не какая-либо другая, как только его бывшая, восьмая, и в конце своей речи он сказал об этом:

— Каждый успех той или иной армии я буду поддерживать всемерно, но главный удар все-таки намечается мною в направлении Луцка, то-есть почетнейшая задача выпадает на долю восьмой.

Так как при этом он остановил глаза на Каледине, то это привело в смущение

очень быстро выдвинувшегося генерала, к тому же только недавно вернувшегося после тяжелого ранения в строй. Теребя усы и с заметным трудом поднимая голову, запинаясь, глухо заговорил Каледин:

— Я не могу не быть благодарным за доверие ваше, Алексеевич, к моим... э-э... возможностям... главное же, возможностям командуемой мною армии... но не могу также не напомнить... э-э... что неприятель именно на Луцком направлении... чувствительно укрепился. Так что мне кажется, что атака в лоб таких позиций не будет... э-э... не может даже быть успешной... Это заявить я считаю своим долгом.

Брусилов довольно давно уже знал Каледина, — еще до войны, по Киевскому военному округу, — и знал его тогда как прекрасного начальника кавалерийской дивизии. Благодаря его личному представлению Каледин получил корпус, и никому другому, после отказа Клембовского, он, Брусилов, не хотел бы передавать своей армии, — только этому, сумрачному с виду, но деловому генералу. Но вот этот генерал повторяет то, что сказано было до него Щербачевым и что он, Брусилов, требовал не повторять.

— Я, я знаю позиции противника в Луцком направлении лучше, чем можете знать их вы! — резко возразил Каледину Брусилов. — Я, я знаю состояние восьмой армии также гораздо лучше, чем успели узнать ее вы! Если мною выбрано именно это, Луцкое, направление, то я преследовал тут и другую цель — поддержать наступление соседних с восьмой армией войск генерала Эверта, так как ему, Эверту, вручается главная роль: он — в корню, а мы — на пристяжке. Но в крайнем случае, если вы заранее уверены в неуспехе на Луцком направлении, мне придется из восьмой армии передать решающий удар в смежную — одиннадцатую, и действовать в направлении на Львов.

После этих слов пришла очередь обеспокоиться генералу Сахарову, но он только покорно склонил круглую голову на апоплексической шее в сторону

Брусилова, понимая уже, что какие-либо возражения будут совершенно бесполезны. Но зато Каледин оказался не в состоянии перенести того, что он оттирается от основного удара, а Сахаров, которого он несколько не уважал, может вдруг получить большую славу только потому, что смалодушествовал он, Каледин. Поэтому он заговорил снова:

— Алексей Алексеевич, позвольте мне объясниться: — я не так вами понят! Я ведь сказал только, что э-э... позиции противника на Луцком направлении очень сильны, и они действительно очень сильные... Но я ведь не отказываюсь атаковать их! Ответственность, только одно это, — ответственность за неудачу, в случае если она постигнет мои усилия, — вот единственное, что мною учитывалось... э-э... что меня беспокоило и сейчас беспокоит... а усилия, все усилия с моей стороны, разумеется, будут приложены.

— Ответственность за неуспех, если он вас или другого постигнет, падет в конечном итоге на меня, конечно, — спокойно сказал на это Брусилов. — А я ведь не непременно жду успеха там, где мне хотелось бы его схватить. Очень может случиться, что на Луцком направлении дело ограничится слабым успехом, а решительный результат обнаружится, скажем, на Львовском или любом другом. Ясно должно быть для всех, что я буду стараться раздуть этот решительный удар всеми резервами, какие у меня найдутся, так как руководить всею операцией в целом буду ведь я, и единственное, что я прошу от вас, это — донесений мне, незамедлительных и правдивых. Конечно, все вы будете просить подкреплений, но вы понимаете, что я-то должен же на основании фактического, а не сумбурного какого-то, с бухты-барахты, донесения расходовать резервы и слать их туда, где без них вполне могли бы обойтись, и лишать их тех, кто в них действительно нуждается, котя и предпочитает истощным голосом не вопить об этом.

Новшество, предложенное Брусиловым, казалось со стороны как будто и небольшим, однако оно совершенно оп-

рокидывало привычные представления собранных им на совет генералов, причем все эти генералы были академики, неакадемиком же среди них был только он сам, их начальник. Вспомнив об этом, Брусилов добавил:

— Мне могут сказать, что если с волками жить, то по-волчьи надо и выть, и что тактический прием немецкого командования, а именно, сильнейший кулак только в месте намеченного прорыва есть прием безусловно существующий, а тот прием, какой я хочу провести на своем фронте, с самого начала уже распыляет мои силы, и вместо кулака может получиться только пятерня, годная разве-что для пощечины; а не для сокрушения зубов, но справиться с такими безусловно сильными позициями нельзя без военной хитрости. Позиции эти укреплялись девять месяцев; они стоили австро-германцам и много трудов, и много искусства, и много средств. На что же я надеюсь, решаясь атаковать их? Как это ни звучит парадоксально, я надеюсь только на то же самое, на что надеются и австро-германцы, то-есть на то, что они очень сильны.

Это заявление не могло не вызвать недоумения со стороны генералов, и Брусилов закончил так:

— Надеюсь на их непреступность, высшее командование германской армии начало оттягивать свои дивизии с нашего фронта на Запад; надеюсь на их крепость, высшее командование австрийцев снимает кое-какие свои дивизии на итальянский фронт. По данным нашей разведки, против нас теперь, то-есть против Юго-Западного фронта, стоит армия общими силами не свыше полу-миллиона человек, но есть надежда у меня, что она с течением времени отнюдь не увеличится, а только уменьшится. Так что численность неприятельских войск нас страшить не может, а преодолеть то, что они понастроили против нас, это уже дело вашей настойчивости и вашего искусства.

Сказав это, Брусилов поднялся, давая этим понять, что им сказано все и что теперь должна начаться усиленная подготовка фронта.

2.

Дивизия, в которую входил полк Кюна, была третьеочередная, собранная исключительно из бывших ополченских дружин, но зато командовал ею боевой генерал-лейтенант Константин Лукич Гильчевский, и вскоре после того, как он узнал, что наступление окончательно решено и намечено на средние числа мая, он явился в расположение своих полков в целях окончательного подсчета всех своих сильных и слабых сторон.

Были в старину сверхсрочные унтера, остававшиеся на военной службе до старости; таким унтером, украшенным серебряными и золотыми шеvronами на рукавах мундира и шинели, был и отец генерала Гильчевского в одном из кавказских полков, и едва ли надеялся он когда-нибудь на то, что сын его, поступивший добровольцем в пехотный полк во время русско-турецкой войны, получит прапорщика, как отличившийся при взятии Карса, будет принят после войны в Академию генерального штаба, которую успешно окончит и пойдет потом шагать от чина к чину.

Он и шагал бы безудержно и далеко бы, может быть, шагнул, если бы не отказался усмирять рабочих в Кутаисе, когда командовал Мингрельским полком в 1905 году. Это сильно затормозило его дальнейшее продвижение по службе, но все-таки он получил второй генеральский чин и вместе с ним дивизию из второочередных полков, с которой и прославился в начале войны и прощтрафился снова, так что был временно отставлен. Однако недостаток генералов заставил вышшее начальство снова поставить его во главе дивизии, и даже больше того: теперь ему, как боевому генералу, дали ни больше ни меньше как задачу прорыва фронта, — одну из нескольких, правда, подобных задач, но другие задачи выпали на долю кадровых дивизий, его же, ополченская, носила трехзначный номер, а названия полков в ней были неслыханные до этой войны в русской армии.

Ему было уже под шестьдесят, но у него задорно еще светились круглые серые глаза под получерными-полуседы-

ми бровями, и серый волос на голове его был еще густ, и голос еще звонок, и в поясе он был тибок, и по-кавказски неумоимо подолгу он мог держаться в седле, предпочитая верховую лошадь генеральской легкой машине, на которой далеко не везде можно проехать, а ближе к позициям лучше и совсем не подъезжать.

Он любил также по-кавказски кутнуть в хорошей компании и по приличному поводу и, разойдясь, спрашивал, хитровато щурясь:

— А ну-ка, ответьте на наполеонов вопрос: что будет выгоднее для дела — войско львов, предводимое баранами, или войско баранов, предводимое львами?

Конечно, наполеонов вопрос этот знали и отвечали, как требовал сам Наполеон, что войско баранов под предводительством льва выгодней, потому что боеспособней.

Тогда он бил себя кулаками в грудь и добавлял:

— Это — я и моя ополченская дивизия!

Так же было и с его первой дивизией из запасных, которая делала в его руках чудеса на фронте, но, воспользовавшись однажды его крепким сном после кутежа, как-то так, здорово живешь, ненароком, по небрежности сожгла целый небольшой австрийский городок, только-что перед тем взятый ею же с бою.

За это-то художество «баранов» и отчислили в резерв «льва», однако не сразу. Он должен был совершить еще подвиг, от которого благоразумно отказался генерал, уже явившийся было ему на смену. Этот подвиг был — форсирование с боями реки Вислы, имевшей в том месте полверсты в ширину, причем на реке не было никакого моста, — его еще нужно было сделать.

По замыслу высшего командования предполагалось произвести здесь не столько переправу через Вислу, сколько демонстративные действия, имеющие характер переправы. Настоящая переправа войск происходила гораздо севернее, но об этом не было дано знать Гильчевскому, он понял приказ буквально и

принялся за дело с тою энергией, которая его отличала, тем более, что распоряжение шло от Лечицкого, а это был генерал серьезный.

В виду неприятеля, занимавшего позиции на другом берегу Вислы, с лесопильного завода, расположенного верстах в двенадцати от позиций, начали доставлять доски для постройки моста. Над этим трудилось много полковых лошадей и много людей, но это был мирный труд. Немцы с другого берега широкой реки наблюдали его спокойно: пока мост не был перекинут через реку, им и беспокоиться было нечего, а вот строить мост под орудийным и пулеметным огнем, — это могло, конечно, привлечь пристальное внимание кого угодно, не только немцев.

Гильчевский достал не только доски, но и булыжник для башмаков козел моста, — горы этого булыжника привезли подводы на берег, — и железо, и скобы, и гвозди, и канаты, — строить так строить, нужно, чтобы все при этом было под руками, — но прежде всего, конечно, надо было отогнать подалее зрителей с другого берега, а для этого переправить каким-нибудь образом свою дивизию на тот берег и занять позиции немцев.

Это и было то самое, чего испугался его заместитель, засевший пока в штабе корпуса в ожидании, когда сломает себе на этом голову Гильчевский.

Однако Гильчевский ломал голову только над переправой и ломал не зря. Он изъездил верхом весь свой участок берега, — приблизительно верст двадцать, — и хорошо изучил и глубокую реку с ее быстрым течением, крутыми берегами и широкой, версты на три-на четыре, долиной, и небольшие, заросшие ивняком острова на ее старом русле. В эти-то острова он и вцепился.

Берега Вислы здесь были чрезвычайно густо заселены: польские деревни, еврейские местечки, отдельные фольварки, господские дома в имениях польских помещиков, окруженные парками, — все это, с одной стороны, содействовало продвижению дивизии к намеченным для переправы островам, с другой же, — убеждало в том, что сде-

лать этого втайне от противника, хотя бы и пользуясь ночами, было невозможно: глаза и уши его непременно должны были таиться тут везде.

Гильчевский пустился на хитрость, чтобы сбить с толку и противника, и его шпионов: днем он развил большую суету в одном, более удобном для переправы месте, чтобы ночью начать переправу в другом, менее удобном на любой взгляд. Он учел при этом и то, что против места, выбранного им для демонстрации, тянулись позиции, занятые германцами, а позиции против островов, намеченных для переправы, занимали австрийцы.

Но, где бы и как бы ни переправлять дивизию, этого нельзя было сделать без каких-нибудь, хотя бы и небольших, лодок. Однако у приречных жителей лодок не оказалось. С трудом удалось узнать, что лодки были, но владельцы сознательно утопили их, чтобы их сохранить от реквизиции. Действительно, когда в хмельниках помещичьих имений нашли длинные жерди, то при помощи жердей этих разыскали утопленные лодки; выбрали из них камень, подняли, и Гильчевский довольно потер руки от удачи. Теперь оставалось только приступить к переправе передовых отрядов там, где намечена была демонстрация.

В сумерки 9 октября эта демонстрация началась и, конечно, встречена была орудийными залпами немцев, но зато в ту же ночь, на 10 октября, пять батальонов переправились, где вброд, где вплавь, где на лодках, которых было всего несколько штук, от острова к острову, на другой берег Вислы, выбили австрийцев из их окопов и закрепились в них при поддержке артиллерии, стоявшей на берегу.

Беспрерывная артиллерийская пальба доносилась на другой день с севера, около Ивангорода, где завязались серьезные бои, так что, выйдя на левый берег, дивизия Гильчевского должна была ударить во фланг австро-германцам, — так он сам понимал свою задачу. Поэтому, лично руководя переправой полков, он руководил и боем, пока, наконец, то, что считалось совер-

шенно невыполнимым с точки зрения теории, — форсирование широкой реки без малейшего подобия моста и под обстрелом с сильно укрепленных позиций противника, — не закончилось вполне успешно, хотя проводилось и не одну только ночь, а захватило еще четыре дня и три ночи.

За это время у самого Гильчевского не раз возникали сомнения, не подтянет ли противник достаточных сил, чтобы опрокинуть и утопить в Висле и авангард его, и другие батальоны, которые он вводил в дело постепенно, не имея средств для переброски их разом: на пяти-шести лодчонках много людей не поместишь, но ведь, кроме людей, нужно было переправлять и лошадей, и орудия.

В то же время никаких новых указаний он не получал, — значит, прежнее оставили в силе. Ему приходилось думать, что начальство знает и силы, и замыслы врага и где-то в другом месте проводит против него основательный нажим, а он должен не только приковать к себе немецкие и австрийские части, но еще и расколотить их и все это сделать со своими запасными, которые весьма упорно продолжали считать себя если и взятыми в ряды армии, то исключительно для службы в тылу, а не для сражений на фронте.

Во всей дивизии был только один штаб-офицер — подполковник, командовавший одним из полков, и его-то поставил Гильчевский начальником авангарда. Однако и он, кадровый офицер, не был уверен в успехе штурма неприятельских позиций, назначенного Гильчевским в ночь с 12 на 13 октября; он просил перенести его на утро, когда солдаты будут, по крайней мере, видеть, куда именно они идут на штурм.

Гильчевский в ответ на это только подтвердил свой приказ и ждал потом, что из этого выйдет: он считал, что штурм подготовлен артиллерией, и думал, что ночью его запасные будут действовать отчаянней. Артиллерия замолкла как с русской стороны, так и со стороны врага. Настала тишина. И вдруг — «ура» с того берега. Сначала

жидкое, оно становилось все могучей, и трескотня пулеметов и винтовок не могла его заглушить.

Это значило — начался штурм. Не его могли отбить, могли опрокинуть штурмующие колонны в Вислу... В землянке у своего офицера связи сидел Гильчевский и смотрел на него выжидающе, время от времени повторяя: «Ну? Что? Ничего нет?..» Провод мог быть, конечно, и перебит пулей теперь или перед атакой осколком снаряда... Гильчевский скрипел зубами, выходил из землянки, вглядывался в сырую темь, откуда «ура» хотя и продолжало еще доноситься, но уже гораздо слабее, а выстрелы показались громче и чаще.

Наконец, затихло там все, — ни «ура», ни выстрелов... Что же там происходит? Тонут его солдаты в реке?.. Не забыл в то время Гильчевский никаких крепких слов, которыми вспоминал он свое начальство, давшее ему приказ, заведомо неисполнимый... Но вдруг дошло до связиста первое донесение с того берега: «Позиции противника взяты, — идет подсчет пленных»...

— Ого! Ого, запасные!.. Вот тебе и запасные! Знай наших! — радостно выкрикнул Гильчевский и вытянул через горлышко полфляги коньяку, бывшей у него в кармане.

Потом пришло другое донесение: «Пленных 700 с лишним человек, из них 13 офицеров».

Для того, чтобы броситься на штурм, солдаты должны были перейти вброд через проток, — рукав Вислы, — по грудь в воде, держа вещевые мешки и винтовки над головой. Как бы ни энергично вели обстрел батареи в течение дня, но гарнизон противника понес не такие большие потери, если после сопротивления сдалось еще несколько сот человек: можно было предположить, что не меньше бежало в тыл, пользуясь темнотой ночи. Эти бежавшие, конечно, должны были притянуть к утру гораздо более крупные силы, и вот перед Гильчевским встал вопрос, что делать дальше. Он решил в эту же ночь перебросить на тот берег всю остальную дивизию.

И переправа началась, тем более, что накануне удалось поднять со дна реки уже не рыбацью лодку, а целую баржу, на которую погрузили теперь пушки. Кутру на другом берегу было уже одиннадцать батальонов, восемь орудий и две сотни донцов. Это позволило отбить контратаку противника, который ввел на другой день в дело бригаду босняков с артиллерией. Отбитые босняки окопались вблизи, ожидая подкреплений. Гильчевский тоже мог бы, как сделал бы другой начальник дивизии на его месте, остаться вблизи боевых действий около остальных пяти батальонов и пяти восьмиорудийных батарей, расположенных на правом берегу, и отсюда руководить действиями большей части дивизии, переброшенной на левый.

Однако он предпочел переправиться на каком-то наскоро обитом плоту, причем случилось так, что через проток ему пришлось идти вброд наряду с солдатами. Это его отличало от других генералов, тем более от академиков, что он не переносил неизвестности, неразлучной с сиденьем в тылу, когда дивизия его вступала в бой.

Свои одиннадцать батальонов на бригаду босняков он вел уже сам, начав штурм их окопов в четыре часа ночи. Штурм этот был так же удачен, как и первый. Окружены были все передовые позиции противника, захвачено больше шестисот пленных с офицерами, гаубичный парк, и от окончательного разгрома босняков спасли только их быстрые ноги.

Впрочем, преследовать их было запрещено командиром корпуса, приславшим в этом смысле строгий приказ. Предписывалось заняться постройкой моста.

Пришлось приступить к строительству, хотя материалов для моста было собрано не так много и качество их было плохое. Но через несколько дней на буксирных пароходах прибыл, наконец, из Ивангорода понтонный мост.

Вслед за тем явилась возможность отчислить Гильчевского в штаб корпуса с передачей им своей дивизии тому самому генералу, который выжидал в

штабе более легких задач, чем форсирование Вислы без всяких надежд на удачу.

Никто из высшего начальства не обратил внимания на то, что много любимца судьбы могло бы выдвинуть или хотя бы отметить, и целую зиму Гильчевский был не у дел. Только в марте 15-го года он получил дивизию, теперь уже ополченскую, притом такую, которую надо было еще самому формировать из дружин, притом в большом портовом городе — Одессе.

Впрочем, долго с этим возиться не пришлось, — фронт требовал пополнений.

Вооруженные берданками, снабженные старинными запасами патронов с дымным порохом, дружины потянулись в Буковину, — в тот краешек ее, который был близок и к Каменцу-Подольску и к Хотину.

В каждой бригаде этой дивизии было шесть дружин, а при каждой из дружин — по конной сотне и по батарее в шесть орудий. Так они и действовали в первых своих боях: стреляли отсыревшими патронами сорокалетней давности, причем пули летели не дальше как за пятьдесят шагов, а сами стрелки окутывались непроницаемым для глаз дымом, под защитой которого можно было бросать свои окопы и уходить, что они и делали, так как никакой дисциплины не знали. Бывало и так, что и окопы свои рыли они, обращая их фронтом не к противнику, а в тыл, — до того не умели они располагаться на местности. Офицеров было очень мало; все они были или из отставки, отягченные годами, болезнями, но отнюдь не знаниями боевых действий, или зауряд-прапорщики, что было не лучше.

И вот такую дивизию получил боевой генерал, причем времени на ее обучение ему не было дано, — она была брошена на фронт отстаивать отечество. Выходило так, что не зачисление в резерв генералов на полгода, а назначение командиром такой дивизии было подлинным наказанием для Гильчевского. Он все-таки привык ценить себя, если даже не ценило его начальство, но в первые дни и недели, на новом для се-

бя фронте и с совершенно небоеспособными дружинами, что мог он сделать против неприятеля, прекрасно укрепившегося, вполне дисциплинированного, в изобилии снабженного новейшим оружием и боеприпасами?

Он мог удивляться только тому, что не делал ничего и противник, только сидел в своих отлично оборудованных окопах и не то, чтобы стрелял даже, а постреливал, — держал фронт и давал понять, что всего у него вдоволь, что воевать для него — приятное занятие, поэтому к каким-нибудь решительным действиям, которые бы сократили это удовольствие, он не стремится.

В то время как австрийцы защитили свои окопы сплошной стеной колючей проволоки на четырех рядах кольев и выбрали для окопов командующее положение, дружины должны были закапываться в землю в сырой низине, и ни кольев, ни проволоки им не доставляли долгое время. Много настоятельных требований об этом послал по начальству Гильчевский, пока наконец-то явилась возможность забить хоть один ряд кольев, а также раздать в дружины вместо берданок японские винтовки, которыми надо было еще научить пользоваться ополченцев, привыкших уже из-за дыма берданок не замечать, производит ли какое-нибудь действие их стрельба, или нет.

Каждый день делал Гильчевский то, чего нельзя было даже и вообразить в русской армии того времени, — он, начальник дивизии, обходил окопы всех своих двенадцати дружин, проверяя лично чуть ли не каждого ополченца, не говоря об офицерах. Но, когда в конце апреля 15-го года получил приказ о наступлении на своем участке фронта, он все-таки ахнул от изумления.

— Кто же сидит в штабе корпуса и армии, какие мерзавцы, хотел бы я знать?! — кричал он у себя в штабе дивизии. — Как же мы будем наступать, когда у нас нет даже ножниц для резки колючей проволоки? Как наступать, когда у нас почти нет снарядов? И против кого наступать мы должны с голыми руками? Против австрийцев, у которых снарядов горы, которые по

одиночным людям нашим не стесняются из орудий лупить! Хороши мы будем, если начнем наступать! Красивый вид мы будем иметь, когда нас возьмут в работу!

Однако приказ он выполнил и если к чему стремился, то только к тому, чтобы уберечь своих ополченцев от больших потерь, когда австрийцы пошли в контратаку, показав при этом, что у них есть в глубине позиций даже и двенадцатидюймовые орудия, а по колючей проволоке пропущен с электростанции ток. Так защищали они в апреле город Черновицы, который штаб девятой армии намерен был взять силами двух рядом стоявших дивизий из ополченских дружин.

Впрочем, отогнав вздумавшие наступать дружины, австрийцы тоже не пошли вперед: они снова засели в свои чистенькие, сухие окопы, наводя этим на размышления привыкшего к кипучим действиям Гильчевского. Но это был крайний левый фланг тогдашних русских позиций Юго-Западного фронта, а серьезные действия готовили австро-германцы не против девятой армии генерала Лечицкого, а против третьей, которой командовал Радко-Дмитриев, стоявшей на Карпатах и угрожавшей вторжением в богатые долины Венгрии.

Гром и грянул именно там в ближайшее время, а здесь, против Черновиц, раздалась только его отголоски. Со стороны противника появились новые части, между ними и бригада баварских улан, и началось наступление, которое готовилось с ранней весны. Штаб корпуса приказал Гильчевскому, как и начальнику другой ополченской дивизии, отступить планомерно, а сам умчался в тыл сразу верст на сто.

Отступать под натиском значительно превосходящих сил — трудное искусство. Не раз случалось, что, поддавшись панике, ополченцы-артиллеристы бросали свои орудия, хотя и бесполезные, правда, в тот момент по отсутствию снарядов, а пехотинцы накидывались на свои же обозы, сбрасывали с повозок обозных, садились в них сами и, нахлестывая коней, мчались в тыл по дорогам и по хлебам вдоль дорог.

Гильчевский сам собирал кого только удавалось собрать, чтобы приостановить напор противника арьергардными боями, пока не закрепился, наконец, там, где представилась возможность защищаться продолжительное время. Но это было уже за Хотинским, на подступах к Каменцу-Подольску, так что пришлось бросить и долину Прута и перейти через Днестр.

Не только удалось укрепиться, но даже неугомонный Гильчевский решил перейти сам в наступление на австро-германцев, пользуясь тем, что они тоже приостановились и начали окапываться на вновь занятых рубежах.

Местность была богатая. Огромные сливовые сады окружали частые деревни. В одной из них, прилегавшей к Хотинскому шоссе, был большой сахарный завод, занятый противником. Туда-то и решил направить Гильчевский свой удар. Это была вполне понятная для всех ополченцев цель, и радовалось сердце начальника дивизии, когда после артиллерийского обстрела завода ринулись туда среди бела дня, — в четыре часа пополудни, — три дружины.

И завод был взят к ночи, — это было первое удачное дело дивизии, за которое Гильчевский готов был расцеловать каждого из своих ополченцев, будь то зауряд-прапорщик, будь то рядовой. Этот завод являлся ключом новых позиций противника, поэтому последствия успешной атаки оказались гораздо более крупными, чем ожидал Гильчевский: в следующую ночь австрийцы очистили все, что было ими занято, и откатились к старой линии своих окопов.

Гильчевский повел свои дружины следом за ними, чтобы не потерять соприкосновения с врагом, между тем как другой ополченской дивизии рядом с ним теперь не было, а штаб корпуса успел забраться так далеко, что о нем ничего не было слышно. Дивизия действовала так, как будто одна она и представляла все русские силы в направлении Черновца.

И нужно же было, чтобы как-раз в то время, когда дивизии удалось нагнать противника, нагнал дивизию и

офицер, посланный вдруг проявившим признаки жизни где-то в тылу командиром корпуса генералом Федотовым. Офицер этот привез категорический приказ остановиться и ждать подхода остальных частей корпуса — второй ополченской дивизии и конных полков.

Пришлось остановить дружины, горевшие желанием боя, но это значило дать противнику возможность и время подготовиться как следует отпор, тем более, что он занял холмистую местность, покрытую буковым лесом, — очень удобную для защиты и трудную для нападения.

Подошла вторая дивизия; подошли даже и кавказские пластуны, которые, пробыв перед тем несколько дней в Севастополе, отправлены были потом морем в Одессу. Однако как ни приятно было Гильчевскому иметь у себя под боком кавказцев, с одной стороны, и вторую дивизию ополченцев — с другой, он горестно бил себя по бедрам, прикусывал ус и грозил кулаком в сторону предполагаемой штабквартиры Федотова, приговаривая:

— Эх, вот кого бить некому, а следует! Пропустил время, лодырь божий!

Относительно пластунов он знал еще по Кавказу, что они не признают никаких окопов и никогда не занимаются саперным делом, что вместо окопов у них кусты, пеньки, камни, но они — меткие стрелки. Пренебрежение к окопам прощалось им на Кавказе, но здесь была другая война, и тревожно было за них, как-то они себя здесь покажут.

Впоследствии пластуны приспособились и к этой войне, и противник их очень боялся, но в эти дни неудача ожидала всех, так как пришлось атаковать врага на его старых, давно им обжитых позициях.

Даже те двенадцатидюймовые гаубицы, которые были уже знакомы дивизии Гильчевского, заговорили снова, делая огромные воронки десятиметровой глубины. Три атаки одна за другой были отбиты венгерскими и хорватскими частями, и, хотя несколько окопов было взято, их все-таки пришлось оставить. Потери были значительны, и единственным результатом этих атак

явилось только то, что, укрепившись потом вблизи австрийских позиций на австрийской же территории, ополченская дивизия Гильчевского оказалась единственной в этом отношении дивизией во всей русской армии, продолжавшей отступление в глубь своей страны.

После того надолго установилось затишье в этом углу фронта. Летом из двенадцати дружин каждой из двух ополченских дивизий 32-го корпуса были сформированы по четыре трехбатальонных полка, командиры которых были присланы из полевых войск, а бывшие командиры дружин стали командовать батальонами. Самое слово «ополченец» было с тех пор вычеркнуто из обиходной даже речи.

— Ну, братцы, раз вы назвались груздями, так полезайте теперь в кувоз! — сказал своим теперь уж обстрелянным питомцам Гильчевский и приступил к их окончательной шлифовке, когда тот или иной полк поочередно находился в резерве,

Тут все тогда делалось при нем: и показная атака позиций, укрепленных рядами проволочных заграждений, и решение тактических задач на местности, и вождение войск в лесах, для чего было выписано много компасов. Последнее было самым трудным делом; части, попадавшие в лес, очень быстро теряли и направление, и связь и становились беспастушным стадом. Тут же делались саперами ручные гранаты из консервных жестянок, заготавливались рогатки, которые потом по ходам сообщения выносились к передовым окопам.

Все научились тогда резать ножницами колючую проволоку, но на деле оказалось, что одно дело заниматься этим у себя в тылу и совсем другое — под огнем противника. Однако введенного тогда уже французами способа уничтожения проволочных заграждений при помощи гранат в русской армии еще не знали.

Даже учебную команду на 300 человек для подготовки унтер-офицеров учредил в своей дивизии Гильчевский. Никто не помогал ему в работе ни из штаба корпуса, ни тем более из штаба

армии, но он был рад и тому, что никто не мешал.

Так простояла его дивизия до конца года, когда весь корпус был переведен в восьмую армию Брусилова, в район города Ровно, на Волыни, где и застала его весна 16-го года.

Через месяц после того, как утвердился здесь Гильчевский, он, по своей личной инициативе, повел атаку одним из полков на высоту противника, с которой тот обстреливал и днем, и ночью из винтовок и пулеметов дорогу между местечком, где был штаб дивизии, и деревней, где был штаб этого полка, — нельзя было ни ходить, ни ездить, много было потерь.

Высота эта взята была ночным штурмом, и два батальона не только заняли на ней окопы австрийцев, но и удержали их за собою, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и неоднократные попытки противника их отбить.

Так как штурм высоты произведен был без ведома корпусного командира Федотова, то он задержал список отличившихся при этом, представленных Гильчевским к награде. Но вскоре после этого явился на смотр нового корпуса своей армии Брусиллов, и для него приятной новостью оказалось, что доложил ему сам Гильчевский о взятой его полком высоте.

— Как же вы не донесли мне об этом? — обратился Брусиллов к Федотову.

— Дело это у меня совершенно подготовлено, но просто по недостатку времени, ваше высокопревосходительство, — вывернулся Федотов.

Сам он никогда в окопах не бывал и теперь, идя следом за Брусилловым, видимо, даже не понимал, как может командующий армией ходить там, где все время свистят над головой пули.

— Я представил к награде командира полка, а также всех отличившихся в этом деле, — не постеснялся сказать Брусиллову Гильчевский, — но до сих пор однако...

— Как же вы так? — обращаясь к Федотову, перебил Гильчевского Брусиллов. — Сегодня же передайте мне спи-

сок представленных, — добавил он сухо, — и на будущее время прошу вас этого не делать.

И тут же, остановившись под пулями, которым то-и-дело кланялся Федотов, Брусилов, поняв уже, что не Федотов отважился приказать взять высоту штурмом, а этот храбрый начальник дивизии, сердечно поблагодарил Гильчевского. Это была первая благодарность, какую получил от высшего начальства во всю войну боевой генерал.

3.

Ливенцев за два-три дня успел познакомиться и со своей ротой, и со всеми офицерами четвертого батальона, благо их было пока немного, да и весь батальон еще только составлялся тут из маршевых команд, окопы же, которые он занял, оставила ему другая часть, переведенная гораздо левее по линии фронта.

Оказалось, что на людей в эту весну не скупилась Ставка, — людей в тогдашней России нашлось еще очень много, несмотря на огромные потери летом 15-го года; мало было тяжелых орудий и снарядов, мало вагонов, так как сотни тысяч их были заняты под постоянное жилье беженцами, мало было даже винтовок, но людей пока хватало для того, чтобы создать подавляющее превосходство в силах на всех фронтах войны.

И люди были не плохи, — это видел и Ливенцев по своей и по другим ротам. Кроме вятских, тут были и волжане — довольно рослый и крепкий на вид народ. Наметанный уже глаз Ливенцева давал им оценку не только как окопникам, — он представлял их впереди своих окопов, с винтовками «на руку» и с ярыми лицами, какие, он помнил, были у солдат его прежней роты при атаке высоты 370 в Галиции, и говорил Обидину:

— Ничего, народ в общем храбрый... Главное, много молодых, а старых гораздо меньше.

Но Обидин смотрел на него растерянно.

— Храбрый, вы говорите? Это просто орда какая-то, — никакой дисципли-

ны, — бормотал он и махал безнадежно рукой.

— Какой же вы хотели бы дисциплины? Как в казарме? Такой нельзя и требовать, — ведь это — позиции, — пробовал убеждать его Ливенцев. — Тут они не перед лицом устава гарнизонной службы, а перед лицом ее величества Смерти.

— Однако без дисциплины как же перед лицом Смерти соваться? Скосит, — и все!

У Обидина было при этом такое обреченное, отчаявшееся во всем лице, что ему не нужно было и делать того слабого жеста рукой, какой он сделал, чтобы представить косу смерти над его ротой. Это заставило Ливенцева мгновенно стать на его место и тут же попятиться назад. Он сказал ему наставительно, как старший младшему, как опытный новичку:

— Разумеется, вы сами, лично вы должны себя чувствовать так, как будто и сидеть в окопах, вшей кормить, для вас ничего не значит, и в атаку идти если, — пожалуйста, сколько угодно, — вот тогда и будет у вас дисциплина в роте, а иначе откуда же она возьмется? Солдат в роте все равно, что ученик в классе: вы наблюдаете его, а он вас. Ведь вы тут живете с ним рядом и терпите то же, что и он, — ведь вы не начальник дивизии, а всего только командир роты, — невеликая птица. Вот и покажите ему на своем примере, как надо терпеть все солдатские нужды, тогда он вас и слушать будет и за вами куда угодно пойдет.

— А вы? — вдруг как будто раздраженный его тоном спросил Обидин. — Что я? — не понял Ливенцев, так как, говоря Обидину, он старался как бы убедить самого себя.

— Вас слушают?

— Ну, еще бы!

— И за вами пойдут? — качнул Обидин головой в сторону австрийских окопов.

— Непременно! — постарался убедить самого себя Ливенцев.

— Непременно?... А зачем? — вызывающе спросил Обидин и снова махнул рукой в знак безнадежности.

Это случалось иногда раньше с Ливенцевым, что другой человек для него становился мгновенно вдруг чужим, ненужным, даже ненавистным — иногда после одного какого-нибудь слова, если только это слово выражало его неприглядную сущность, с которой он не мог мириться. Так вышло и теперь с Обидиным, который как будто воплотил в себе все дряблое, что таилось и в самом Ливенцеве под его внешней бравадой, но совершенно было ни к чему тут, где все жестко, жестоко, стихийно-бессмысленно, трагично в огромнейших масштабах, а не в личных и не в семейных, и даже не в масштабах одного города, пусть столь же населенного, как Лондон или Нью-Йорк...

Ливенцев сам как будто вырос сразу, в один этот момент, когда появилась в нем острая неприязнь к человеку располагающей внешности, с которым он ехал сюда в одном вагоне и ночевал по приезде первую ночь в одном блиндаже.

— Вы помните, у Достоевского есть капитан в среде ему чуждой, в среде атеистов, а? — спросил он резко. — Помните, как он просил на пол свою фуражку и сказал: «Если бога нет, то какой же я капитан?» Как же вы хотите остаться жить на свете и считаться вполне порядочным человеком, если не будет России, если вместо России будет откровеннейшая немецкая какая-нибудь Остланд или как-нибудь иначе, а?

— Ничего в этом страшного не вижу, — убежденно-спокойно отозвался на его горячую тираду Обидин.

— Ну, если так, то... то, признаться вам, я не хотел бы иметь вас своим соседом по роте, — столь же убежденно сказал Ливенцев и отошел от него поспешно.

Это произошло как-раз на той самой дороге, которая теперь была безопасна для ходьбы и езды, так как на некрутой высоте перед нею версты за полторы-две сидели теперь в окопах не гонимые, а русские солдаты другого полка той же дивизии, которые и взяли штурмом эти окопы, и сидели они там

упорно, несмотря на долговременный и сильнейший артиллерийский огонь австрийцев, которые, наконец, примирились с потерей и умолкли.

Иногда нужны бывают толчки извне, чтобы осмыслить то, что в себе самом еще недостаточно ясно. Таким толчком и был для Ливенцева этот короткий разговор с прапорщиком, хотя и побывавшим в военной школе, но не вынесшим оттуда ничего, кроме равнодушия к судьбам своей родины.

Ливенцев не знал о себе самом и многого другого, что удалось узнать только во время войны. Он не думал, например, даже и представить не мог, что он способен так стоически переносить все неслыханные и невиданные им до того неудобства фронтовой жизни и даже привыкать к ним; он не думал, что может засыпать под залпы тяжелой артиллерии и в то же время вскакивать, как резиновый, когда его будили по неотложному делу; он не думал, что в нем найдется то же самое сопротивление разным воздействиям извне, какое он с изумлением наблюдал у солдат в первые недели своей службы, — однако сопротивление это нашлось у него под тяжелым ворохом и математических формул, и прочего, очень многого совершенно ненужного теперь, но что он усваивал всю свою жизнь ревностно и жадно.

Если бы ему сказали раньше, что те два-три месяца, какие он провел вне фронта, не заставят его ни возненавидеть, ни проклясть, ни даже прочно забыть фронт, — он бы ни за что не поверил, и однако это было именно так: в госпитале он просто скучал по тому, что осталось на фронте, хотя остались там только снега, бураны, замерзающие солдаты, «самострелы», окопы, в которых нельзя было ни сесть, ни лечь от избытка в них почвенной воды, и случайные товарищи по несчастью, среди которых не было и не могло быть друзей.

Выздоровев от раны в грудь, он не искал себе места в тылу, как делали многие другие, — его тянуло снова на фронт, и он объяснял самому себе эту тягу несколько сложно.

Человек науки, он сравнивал это с тягой ученых в неведомые страны, обозначаемые на картах белыми пятнами. В этих странах что могло ожидать путешественников? Всевозможные виды лишений, опасностей и даже смерть от чего бы то ни было. Однако ученые шли, подчиняясь тому, что было в них сильнее любви к тихому, удобному кабинету, и иногда погибали, но зато белых пятен на картах мира становилось все меньше и меньше. Или он сравнивал это с наводнением, которое угрожает залить город, и вот все, от мала до велика, начинают работать кирками и лопатами, строить дамбы, способную запечатить город. Тут нельзя отговариваться тем, что никогда не копал земли, что это гораздо лучше могут сделать грабари, привычные к земляным работам: вода не ждет, она приближается, она вот-вот хлынет и разрушит город, поэтому всякая сила нужна, хотя бы и стариков, и ребят. Наконец, он сравнивал это и с созидательным трудом, в котором участвуют миллионы. Ничто в природе не пропадает, на развалинах одного воздвигается другое и непременно более совершенное. «Что такое эта война? — спрашивал он себя самого и отвечал себе: — Гигантский процесс отмирания отживших форм, понятий и представлений и зарождение других», — и вспоминал при этом известные стихи: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

Все это ничуть не мешало ему возмущаться тем, как делалось то или другое на фронте, однако гораздо больше возмущало его то, что делалось в тылу, где все оставалось по существу своему довоенным, как будто тут, на западе страны, не совершалась титаническая ломка всех старых устоев.

В числе многих сторон в себе, которые были ему до войны неизвестны, оказалось, неожиданно для него самого, и то, что он любит Россию. Если бы перед войной кто-нибудь спросил его: «Как вы смотрите на Россию?», он бы ответил, улыбаясь: «Посмотрите лучше в том словаре Брокгауза, так и озаглавленный «Россия», там вы, наверное, найдете ответ на свой вопрос». А если

бы вопрос повторили с нарочитым ударением на «вы», он процитировал бы две тютчевские строчки: «Умом Россию не объять, аршином общим не измерить». и на этом бы кончил. Теперь же слова Обидина показали ему кощунством и по смыслу, и по тону, каким были сказаны: русскому человеку, каким был Обидин, он их простить не мог.

4.

Генерал Гильчевский не то чтобы производил смотры своим полкам в эти дни, — строгое по содержанию слово «смотр» сюда не подходило, — он просто ознакомился с тем пополнением, какое ему присылали, так как основные полки знал хорошо. Однако фронт насыщался людьми с большою щедростью, так что в пополнениях, приходивших в каждый полк, было почти столько же человек, сколько во всех трех старых его батальонах: дивизия удваивалась, она становилась крупной военной единицей, что, с одной стороны, повышало значение начальника дивизии, а с другой — значительно осложняло его роль.

Новые десять тысяч человек могли совершенно изменить весь установившийся уже облик и уклад дивизии, так как боевого опыта они не имели. Особенно беспокоили Гильчевского четвертые батальоны, которые должны были действовать вполне самостоятельно наравне с тремя первыми, а разве их можно было поставить наравне с теми, которые провели уж на фронте целый год?

Обыкновенно и прежде Гильчевский каждый день посещал тот или иной участок своей позиции или даже, если позволяло время, обходил ее всю из одного конца в другой, но последние дни он был занят только резервами, а полк Кюна был последним, куда он попал уже обеспокоенный тем, что пришлось ему видеть в других полках.

Его беспокоило не то, что люди плохо знали службу, что у них была плохая выправка, даже и не то, что они плохо умели стрелять, — все это в его глазах было дело наживное, но он заметил среди них довольно много людей тяжелого, как он сам определил, взгляда.

— У моей матери, — говорил он своему начальнику штаба, полковнику Протозанову, — было маленькое домашнее хозяйство и, между прочим, водились коровы. Она сама их, конечно, доила и по чести коров, как я потом по части лошадей, кое-что понимала. Так вот, помню я это еще с детства, говорила она своей соседке: «Ты хочешь корову себе приобрести, а того не знаешь, какую. Ты ей на имя глядишь, — она, моя мать, так и говорила не «вымя», а «имья», — а ты бы ей еще и в глаза поглядела: как если глаза у нее тяжелые, нелюдимые, ту корову не покупай, — она тебе и доенку ногой может из рук выбить, а то когда в углу прижмет, то и рогами забрухтает»... Вот я это мамашино наставление и вспомнил, как на наших маршевиков смотрел: тяжелый какой-то у многих, действительно «нелюдимый» взгляд!

— Это и я тоже заметил, — отозвался Протозанов, очень всегда подтянутый, размеренно-деятельный человек, с красивыми сухими чертами лица, академик. — Физически народ подходящий, а психика стала уж не та, какая была у наших ополченцев год назад. Это — действие затяжной войны. Через год люди, надо полагать, будут глядеть на свое начальство еще нелюдимее. И вполне объяснимо это, — ведь больших удач нет, а только большие неудачи.

— То-то и есть... И только у меня и надежды, что через год и у немцев пополнения будут глядеть нелюдимо.

Так настроенный пришел в четвертый батальон Гильчевский, где его встретили Кюн со своим адъютантом, прапорщиком Антоновым, и командир батальона подполковник Шангин.

Шангина Ливенцев определил с первого с ним знакомства словом «разболтанный». До своей отставки, откуда был он взят, Шангин служил в корпусе военных топографов и, по его же словам, «топографию прилично знал во время оно, а что касается тактики, — ни в зуб!»

Он и просто пехотного строя не знал и путался в командах, подзубривал их по уставчику, и ходил не только по-

стариковски, хотя шестидесяти лет еще не имел, но и по-штатски, как-то сгибаясь в поясе и виляя плечами. Борода его, еще не седая, желтая, расчесывалась им веером от подбородка, а выцветавшие глаза смотрели на всех подслеповато-приветливо, так как здоровьем он, повидимому, был еще крепок и «переносить труды походной жизни», как писалось в «аттестациях штаб-офицеров», мог, почему и был назначен командиром батальона, идущего на фронт. От недостатка зубов говорил пришепетывая и перед большим начальством робел.

Так как тринадцатая рота Ливенцева была первой в батальоне, то с нее и начался смотр.

Ливенцев успел уже кое-что услышать об этом, новом для него начальнике дивизии в штабе полка и потому глядел на него с большим любопытством, но он заметил, что не меньше любопытство было в серых под черными бровями круглых глазах генерала.

— Зауряд? — коротко спросил Гильчевский.

— Никак нет, выше превосходительство, — бывший прапорщик запаса, каким стал еще в прошлом столетии. В японскую войну призывался из запаса, в эту призван из отставки, — обстоятельно ответил Ливенцев.

— А-а! — довольно протянул Гильчевский. — И, может быть, даже в боях бывали?

— Так точно, бывал, и в эту войну, так как служу уже больше чем полтора года.

— Бывали? — очень оживился Гильчевский. — На каком именно фронте?

— На Галицийском.

— Отступали, ну-ка, а?

— Никак нет, пришлось наступать, — невольно улыбнувшись затаенному лукавству, с каким был задан вопрос, ответил Ливенцев и добавил: — Моей ротой была занята высота с австрийскими окопами... Впоследствии я был ранен, лежал в госпитале, по выздоровлении зачислен в 402-й полк.

— Прекрасный рапорт! — почему-то с ударением на «о» вполне весело ска-

зал Гильчевский. — Вполне уверен, что вы прекрасно представите и свою роту.

— В этой роте я всего только три дня, так как приехал сюда прямо из госпиталя, — сказал Ливенцев, но Гильчевский отозвался на это поирежнему весело:

— Это не составляет сути дела, когда вы приехали!

И Ливенцев понял, что этот начальник заранее готов простить ему все недочеты. Но вышло так, что ни о каких недочетах он и не говорил.

К тому, чтобы иметь под своим начальством полтора ста, двести или даже полностью двести пятьдесят человек, Ливенцев уже привык; столько людей он способен был и быстро запомнить, и долго держать в памяти, тем более, что рота делилась на равные части взводов и отделений. Человек пятьдесят из разных взводов он успел узнать за эти три дня несколько ближе, чем других, потому что спрашивал их, откуда они и чем занимались до призыва в армию.

Он спрашивал это для себя лично, чтобы иметь понятие о людях, которых придется когда-нибудь ему вести на окопы противника: как же он будет вести на смерть тех, кого совсем не знает? И как они могут идти за ним, когда его не знают? Обоюдное знание это казалось ему гораздо более необходимым, чем знание ими разных мелочей службы.

Поэтому он становился искренне рад, если вдруг оказывалось из расспросов, что бывал сам в той или иной местности, откуда родом его новый подчиненный, или даже просто читал, слышал о ней. Так, один, Селиванкин, оказался из села Ижевского, Рязанской губернии.

— Постой-ка, братец, село Ижевское, это, кажется, Спасского уезда? — начал припоминать Ливенцев...

— Так точно, Спасского! — радостно ответил Селиванкин.

— И там ведь у вас все бондари, насколько я знаю, — должно быть, и ты бондарь?

— Так точно, бондарь я! — еще радостнее отозвался и прямо засиял Селиванкин.

— Ну, значит, мы с тобой земляки, выходит, Селиванкин!

Но и волжанин из Большой Глушицы под Самарой — Дымогаров, тоже был назван им своим земляком, хотя он сам никогда не был в Большой Глушице, а только случайно слышал о ней.

Подобных «земляков» из опрошенных им оказалось около тридцати человек, и он знал наперед, что когда опросит таким образом всю роту, то окажется их не меньше двухсот: всегда ведь можно было что-нибудь припомнить о той или другой местности, вроде: «А-а, это у вас там битюгов разводят?» или: «Знаю, знаю: у вас там паточный завод Понизовкина!»... Когда один оказался из села Березайка, и Ливенцев припомнил, что когда-то слышал: «Там возле села и станция Березайка, — кому надо — вылезай-ка!» — то березаец заулыбался во все широкое заросшее сорокалетнее лицо: ведь это и ему было знакомо едва ли не с детства.

К удивлению Ливенцева, приблизительно в таком же духе знакомился с его ротой и генерал Гильчевский, только у него оказалось еще и язык, богатый народными словечками, красочными и яркими, и язык этот очень шел к нему с его лохматыми серыми усами: по годам своим каждому солдату он мог годиться в отцы.

Он обратил внимание на то, что в тринадцатой роте трубы окопных печей были прикрыты мешками, чтобы дым из них не поднимался столбом, а расплзался над землю. В других ротах этого не было, и он, не говоря об этом ничего самому Ливенцеву, сказал солдатам:

— Это ваше счастье, ребята, что у вас такой ротный командир оказался! Будь бы я рядовой, а не начальник дивизии, я бы знал, что с таким ротным нигде бы не пропал, а немцам бы по первое число всыпал! Впрочем, и мне, начальнику дивизии, то-оже неплохо, раз у меня нашелся офицер до того к вам заботливый, что от неприятельских пушек вас и в резерве спасает!

И только тут он показал пальцем на трубы в мешках.

Каганцы вместо телефонных проводов уже появились в окопах по хлопотам Ливенцева; привезли и свежей соломы, — вообще окопы приведены были

в более сносный вид, что тоже не укрылось от зорких глаз Гильчевского, и к смотру четырнадцатой роты он приступил уже в приподнятом настроении.

Там приказал он Обидину вывести первый взвод на укрытый от противника участок, чтобы узнать, умеют ли его новые солдаты если не стрелять из австрийских винтовок, которые получили они перед отправкой сюда, так хотя бы заряжать, и знают ли они сборку-разборку.

Но когда взвод роты Обидина, расстелив на земле шинели, принялся по команде Гильчевского разбирать винтовки, действуя отвертками, случилось то, что смутно ожидал начальник дивизии от людей с нелюдимыми глазами.

Он посмотрел ствол одной винтовки, другой, третьей, — оказались грязными, несмазанными, разбирать магазинную коробку солдаты не умели; не знали даже, как называются отдельные части!

Гильчевский не ставил этого в вину Обидину, зная, что он в роте — человек новый, не винил и солдат, зная, что винтовки эти выданы им только перед отправкой, а до того в их руках были берданки. Он только говорил Обидину:

— Надо вам подналечь, подзаняться этим делом!

И солдатам:

— Прежде всего, ребята, береги винтовку, а винтовка уберезет вас! Сборке-разборке, — этому вас научат, а чистить ствол вы уж должны уметь...

Так, переходя от одного к другому, подошел Гильчевский и к рядовому с тяжелым взглядом. Это был рослый малый со сжатыми губами и с желваками под скулами: держа в правой руке ствол

винтовки, как дубинку, глядел он на генерала явно ненавистно.

— Как фамилия? — спросил Гильчевский, сразу насторожась.

— Мослаков, — протиснул тот сквозь зубы.

— Отвечать не умеешь! — слегка поднял голос Гильчевский, беря в то же время ствол его винтовки за нижний конец, и разглядел, что он забит землею.

— Кэ-эк это тэ-эк не умею? — с выдохом, с запалом протянул Мослаков, глядя не только ненавистно, но и вызывающе.

Предчувствуя недоброе, Гильчевский крепко держал обеими руками гладкое железо, но вдруг Мослаков сильно дернул ствол к себе и тут же сделал им выпад вперед, в грудь генерала.

Очень острый момент этот не ускользнул от зорких глаз тех, кто окружал Гильчевского, и первым подскочил к нему на помощь Протозанов, — человек крупных и крепких мышц, — потом адъютант дивизии, и командир полка Кюн, и Антонов, и Шангин, и другие...

Мослакова свалили наземь, связали ему солдатскими поясами руки.

Когда его уводили потом под конвоем, он совсем не казался обескураженным: напротив, он старался итти браво, подняв голову и презрительно и часто поплеывая, как будто случилось с ним все именно так, как ему хотелось.

В то время, как Гильчевский уходил из четырнадцатой роты, он ничего не сказал прапорщику Обидину, но посмотрел на него долгим тяжелым взглядом.

На другой день Обидин был переведен в другую роту.

Окончание следует.

Рассказы Ивана Сударева

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

НОЧЬЮ, В СЕНЯХ, НА СЕНЕ

Русский человек любит высказаться, — причину этого объяснить не берусь. Иной шуршит, шуршит сеном у тебя под боком, вздыхает, как по маме родной, не дает тебе завести глаз, да и пошел мягким голосом колобродить про свое отношение к жизни и смерти, покуда ты окончательно не заснешь. А бываю и такие, — за веселым разговором вдруг уставится на рюмку, да еще кашлянет, будто у него душа к горлу подступила, и ни к селу, ни к городу — начинает освобождать себя от мыслей...

А мыслей за эту войну накопилось больше, чем полагается человеку для естественного существования. То, что наши деды и отцы не додумали — приходится додумывать нам в самый короткий срок, иной раз — между двумя фугасками... И делать немедленный вывод при помощи оружия... Непонятно говорю?

Дед мой был крепостным у графа Воронцова. Отец крестьянствовал ни шатко, ни валко, жил — беспечно, как трава растет, что добудет — прогуляет, зазовет гостей и — ему ничего не жалко, к рождеству все подчистит: ни соломинки на погребнице, ни курей, ни уток. А он — знай — смеется: «Веселому и могила — пухом, чай живем один раз...» Ох, любил я папашку!.. Советская власть потребовала от него серьезного отношения к жизни, — папашка мой обиделся, не захотел итти в колхоз, начались между ним и советской властью трения, продал он корову, заколотил избу и вместе с махемой моей уехал на Дальний Восток... А мне, его сыну, уже

пришлось решать государственную задачу, и решать — не кое-как, а так, чтобы немец меня испугался, чтобы немцу скучно стало на нашей русской земле... Он стоек в бою, я — стойче его, его сломаю, а не он меня... Он, как бык, прет за пищей. Ему разрешено детей убивать. Он похабник. Я же руку нагну, погуляв клинком по немецким шеям, как было в феврале, и этой же рукой пишу стихи...

Давеча вы правильно заметили, что я пишу стихи. Печатался во фронтовой газете... «У тебя, Сударев, — это личные слова редактора, — тематическое и боевое крепко выходит, а лирику надо бросить...» А и верно — ну ее в болото. Завел я тетрадь для таких стихов, но в походе пропала вместе с конем Беллерофонтон, — такой у меня был конь... До сих пор жалко этого коня... В марте ранило меня в обе ноги без повреждения кости, думаю, — лягу в госпиталь, кто напоит, накормит коня? Доказал врачу, что могу остаться при эскадроне, и в самом деле легко поправился... А он, Беллерофонт, понимает — животное — чего мне стоит в лютый мороз в одних подштаниках проковылять с вередком от колодца к конюшне, — в лицо мне дышал и губой трогал... Стихов не записываю, лирику ношу в груди.

Не так давно видел в одном частном доме картину, — средней величины, да и ничего в ней не было особенного, кроме одного: представляете — лесок, речонка, самая что ни на есть — тихая, русская, и по берегу бежит тропинка

в березовую рощу. Взглянул я и все понял, — ах, сколько жил, и не мог словами выразить этого!.. А художник написал тропинку, и я чувствую — на ней следочки, тянет она меня, умру я за нее, это — моя родина... Опять непонятно говорю?

Представляете: — в деревне, на завалинке сидит старушка, худая, древняя, лицо подернуто могильной землей, одни глаза живые. Я сел рядом. День апрельский, солнышко, а еще — снег кое-где и — ручьи...

— Ну, бабушка, — спрашиваю, — кто же победит?

— Наши, красные победят, русские.

— Ай да патриотка, — говорю, — почему же ты, все-таки, так уверенно думаешь?

Долго бабушка не отвечала, руки положила на клюшку, глаза, как черная ночь, усталила перед собой. Я уж уходить собрался.

— Давеча петухи шибко дрались, — ответила, — чужой-то нашего оседлал и долбит, и долбит, крыльями бьет, да слез с него, да закукуречит... А наш-то вскочил и давай опять биться, давай-того трепать и загнал его — куда и хозяйка не найдет.

Да, верит наш народ в победу, птицам гадает... Эта бабушка — была молодой — бегала по тропинке над речкой, березу заламывала, шум лесной слушала... Теперь сидит на завалинке, путь ее кончен, впереди — земля разрытая, но хочет она, чтобы ее вечный покой был в родной земле.

Вам, вижу, спать тоже не хочется. Как только зенитки кончат стрелять, мы заснем. А пока расскажу несколько правдивых историй. Пришлось видеть немало, — из каких только речек мой конь воду не пил и по эту, и по ту сторону фронта... Подойдут рассказы — печатайте, сам-то я за славой не гонюсь...

★

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Березовое полено кололось, как стеклянное, под ударом топора. Хорош был январский денек, — спокойный дым над занесенной снегом крышей поднимался и таял в небе, таком бирюзовом, с нежным отливом по краю, что казалось невозможно, будто в небе такой холод; невысокое солнце глядело во все око на разукрашенную в иней плакучую березу.

Только вот человек здесь мучил человека. А хорошо бы вот так — тюкать и тюкать колуном по немецким головам, чтобы кололись они, как стеклянные... Василий Васильевич заиндевелой варежкой вытер нос, опустил топор и оглянулся. Со стороны села по дороге, бледно синевшей сонным следом, шел в ушастой шапке низенький паренек, — вернее — катился, расстегнув полушубок, размахивая в помощь себе руками.

Увязнув в снегу по пояс, он перевалился через плетень во двор, не здороваясь — сдернул шапку, — от стриженой головы его поднялся пар, — достал

из шапки синеватый мисточек: — С самолета сбросили! — сказал, схватил топор и с выдыхом начал тюкать по сучковатому полену, чтобы избавить себя от переизбытка возбуждения.

Этого паренька звали Андрей Юденков. Весной он окончил в Ельне среднюю школу, где директорствовал Василий Васильевич, и начал готовиться к университетским экзаменам, но был призван в армию и в злосчастных боях под Вязьмой попал в плен. В то время еще живы были устаревшие понятия о том, как надо воевать: если окружен — значит проиграл, клади оружие. Тогда еще не был доподлинно известен немецкий характер: с виду каменный, но истерический и хрупкий, если ударить по немцу с достаточной решимостью. Но, — за науку платят. Поплатился и Андрей Юденков. Вместе с другими военнопленными его загнали на болото, обнесенное проволокой, где все они простояли по колени в жидкой грязи четверо суток под дождем, без еды. Некото-

рые не выстояли, — повалились, утонули. На пятый день обессиленных людей погнало на запад. В пути тоже многие ложились, и тогда слышались выстрелы, на которые никто не оборачивался.

Когда проходили деревней, — отовсюду, из-за плетня, или в приоткрытую калитку, или в пузырчатое окошечко глядели на унылую толпу военнопленных милосердные глаза русских женщин и протягивалась рука с хлебом, с куском пирога, а иная женщина, пропустив угрюмого конвоира с автоматом на шею, из-под платка доставала глиняный горшок: «Родные мои, молочка съешьте...»

Тут эти люди, кто по неразумию своему малодушно положил оружие, узнали стыд, и кусок им мешала проглотить злоба. Тут многие, кто покрепче, начали бежать, выбирая время в сумерках, покуда конвоиры не загнали людей в сарай. Так и Андрей Юденков, отстав, будто по нужде, кинулся за спиной конвоира в мелкий ельник и долго полз под выстрелами. Стороною от большака он добрался до села Старая Буда. Так же, как и другие бежавшие, он постучался в незнакомую избу и сказал: «Возьмите в зятья...» По немецкому закону за укрывательство военнопленного полагается повешение. Из избы вышел хромой человек с седой щетиной на заячьей губе: «Нет, боимся, — ответил тихо, — проходи, милый». В другую избу его впустили. Пожилая женщина, мывшая в корыте лысого ребенка, подумав — ответила: «Ну, что ж, девка у нас есть, ребенок есть — старшей дочери... Пропала у меня доченька-то, немцы угнали в публичный дом... Оставайся, работай в семье».

Таких, как Андрей, зятьков на селе было несколько человек. Они жили в семьях и с ними делили скудный кусок хлеба из-за одного лишь великого русского милосердия. Присланный немцами нездешний староста Носков, жестокий, но трусливый, не особенно допытывался — подлинные ли это зятья; он глядел лишь за тем, чтобы сдано было оружие, да отбирал именем германского командования теплые вещи, поросят и

птицу, что еще не успели взять немецкие солдаты.

Андрей, осмотревшись, начал с этими людьми заговаривать. Все они люто были злы на немцев, но все считали, что наше дело безнадежно проиграно: Москва давно отдана, — об этом сообщили населению бургомистры и старосты — остатки Красной Армии полибают где-то на Урале...

Андрей с досадой поднял вместе с завязанным топором сучковатое полено, грохнул его, расколол:

— Хочется верить... А вы что скажете?

Разгоревшимися глазами Василий Васильевич читал строки синенького листка, — в нем сообщалось, что миллионная фашистская армия разгромлена по всему московскому фронту, отступает, бросающая танки, артиллерийские парки, машины, и бесчисленными трупами своими устилает дороги и лесные дебри... Это было, как неожиданное помилование после смертного приговора... Он пошел с Андреем в избу, — мимоходом, около печки, взял за плечи, повернул к себе низенькую, полную, седую, стриженную женщину, — свою кормилицу, у которой жил на хуторе под видом племянника, — крикнул ей в задрожавшее лицо: «Капитолина Ивановна, оставьте уныние, заводите блины... Есть колоссальные новости... Жив русский бог!» Прошел за перегородку и у стола вслух прочел еще раз синенький листок... Хлопнул по нему ладонью, захохотал:

— А кто в Россию не верил? А! Кто, Россию хоронить собрался? Поднялась, матушка!..

Андрей тут же рассказал, как давеча услышал гул самолета, выскочил на двор: батюшки — наш! А он уже пролетал и за ним, как голуби, листочки падают... «Я за ними бежать по пузо в снегу, аж пар от меня... Василий Васильевич, это все в корне меняет сущность дела...»

— Разумеется, меняет все в корне! — закричал директор школы, сбегал куда-то и положил на стол парабеллум, жирный от масла, и мешочек с патронами. — Сколько я ночей не спал, ждал этого

листочка... Все обдуманно! Начинаем мстить, Андрей...

— Вдвоем-то, с одним пистолетом, а их — две роты, Василий Васильевич...

— С чего-нибудь начинать надо. Первый человек тоже, — догадался взять острый камень в руку, а во что развернулось!

— Тогда автоматов не было, Василий Васильевич, каменные топоры да личная храбрость...

— Ага! Личная храбрость! — он поставил тощий палец перед носом Андрея... Никто никогда таким еще не видел директора школы, — небольшие глаза его сверлили, как буравы, художавое книжное лицо, с козлиной бородкой, разгорелось, оскалилось не-то от дикого смеха, не-то — готовясь укусить. — Мы держим экзамен, великое историческое испытание, — говорил он так, будто перед его пальцем сидела тысяча Андреев. — Пропадет ли Россия под немцем, или пропасть немцу?.. На древних погостах деды наши поднялись из гробов — слушать, что мы ответим. Нам решать!.. Святыни русские, взорванные немцами, размахивают колокольными языками... Набат! Пушкина любишь? Звезда эта горит в твоём сердце? Культуру нашу, честную, мужицкую, мудрую несешь в себе? Все мы виноваты, что мало ее холили, мало ее берегли... Русский человек расточителен... Ничего... Россия — велика, тяжела, вынослива... А знаешь ли ты — какая в русской тишине таится добродетель? Какое милосердие под ситцевым платочком! Какое самоотвержение!

Василий Васильевич выговорил все это, и глаза его помягчали. Зато у Андрея серые, широко расставленные глаза стали холодными и злыми и осунулось молоджавое лицо с задорным носом. Василий Васильевич сказал:

— Теперь — конкретно, — начинать надо вот с чего: сегодня ночью идем в Старую Буду.

Луна в бледном радужном круге высоко стояла над белыми снегами с густыми — кое-где — тенями от корявой сосны, от печной трубы, одиноко торчавшей из занесенного пожараща. Василий Васильевич едва поспевал за Ан-

дреем, бойко скрипевшим валенками по стеклянной колее. Андрей поднял руку и остановился, — впереди тихо, скучно выла собака. Тогда они свернули по цельному снегу и, тяжело дыша, вышли в село со стороны гумна и стали в тени сарая. Черные окошечки в избах корявились от лунного света. Вдалеке чихал и выстреливал грузовик, доносились отрывистые, не наши голоса.

— Фрицы консервы и водку привезли, подождем, — сказал Андрей.

Когда на улице успокоилось, Андрей перемахнул через забор: — Давай-те за мной смелее, — и за руку перетащил во двор Василия Васильевича, путавшегося в шубе. Они постучались на крылечке. Андрей крикнул: — Староста, к тебе господа офицеры. — И, когда в сенях заскрипели морозными досками, Василий Васильевич сказал по-немецки: — Выходите, вы мне нужны.

— Сейчас, сейчас, господа, минуточку, — торопливо зашптали из сеней, отодвигая задвижку. Дверь приоткрылась, и в лунный свет из черной щели потянулось умильное, с острым носом, рябоватое лицо. Андрей кинулся на дверь, ввалился в сени, и там началась возня. Василий Васильевич не сразу мог разобраться в обстановке, — у его ног сопели, хрипели, катались... Все же различил, что наверху — сидит староста, двигая лопатками, и он револьвером ударил по затылку этого умильного человека... «Оооох, — протянул староста, — оооох, сволочи...»

В жарко натопленной комнате, едва освещенной привернутой лампой, окошки были закрыты ставнями, над клеенчатым диваном, с которого несколько минут тому назад соскочил староста, откинув бараний тулуп и уронив на пол грязную ситцевую подушку, была приколота открытка — Гитлер в морской форме. На голом столе рядом с пузырьком чернил и раскрытой конторской книгой лежал новенький автомат, — то — зачем они сюда пришли.

— Теперь ты согласен, что мы уже не плохо вооружены? — спросил Василий Васильевич с усмешкой, сдвинувшей набок его бородку. — Бери автомат, я возьму книгу, идем к Ленке Власову.

Старосту из предосторожности они отнесли из сеней в сарай и бросили за дрова. Над тихим селом стоял месяц в морозных радугах. Но не волшебные сказки рассказывал он спящим людям, — лучше бы ему взойти красным, как кровь из замученного сердца, раскаленным, как ненависть...

— Чего вы все голову задираете, воздух спокойный, — сказал Андрей, — лезьте за мной, собак на дворе нет...

Ленька Власов, с хмурым лицом, с сильной шеей, вышел к ним на мороз босиком, в одной неподпоясанной рубашке. Разглядывая трофейный автомат, поджигая ноги, выслушал краткое сообщение о сброшенной листовке, о необходимости немедленных партизанских действий. Когда у него застучали зубы, сказал:

— Идемте в избу. Это дела серьезные. Надо за ребятами послать...

В темной избе, где пахло бедностью, говорили шопотом, замолкая, когда за перегородкой ворочались женщины. В неясном свете, пробивавшемся сквозь морозное окошечко, видно было, как одна из них вышла, надевая в рукава полушубок; Ленька шепнул ей что-то, она, подойдя к печке — позвала юным голосом: «Ваня, подай мне валенки мои», — стоя, всунула в них ноги и торопливо ушла со двора. Василий Васильевич принялся было развивать те же идеи, что — давеча перед Андреем, но Ленька перебил сурово:

— Сейчас агитация возможна только боем. Удастся нам хоть один гарнизон уничтожить — поднимется десять сел. Оружие нужно. — И он позвал: — Ваня, оденься, слезь к нам.

С печки соскользнул мальчик и стал близко к взрослым, подняв к ним большие глаза. Когда Василий Васильевич положил руку на его теплую, мягковолосую голову, он отстранился, — дескать — не время ласкам.

— Нам нужно оружие, — сказал ему Ленька...

— Понятно.

— Имеется поблизости брошенное оружие? Вы, мальчишки, должны все знать.

— Имеется. Есть один мальчишка, Аркадий, тот больше моего знает, вам он скажет. Противотанковая пушка вам нужна? — есть две пушки — утоплены в речке. *Снаряды знаем где. В лесу, в яме одиннадцать пулеметов закопано. А еще в одном месте — ручные гранаты и мины. Все покажем. Чего, — вы собрались немцев бить?

— Ну, это не твое дело.

— Как это — не мое дело? — мужичьим голосом сказал мальчик и подтянул штаны. — Меня можно пытаться, от меня ничего не добьешься.

Василий Васильевич присел, чтобы лучше рассмотреть его лицо, — оно было и детское, круглое, с пухлыми губами, и не по-детски серьезное. В избу один за другим явились пять человек — фронтовиков и — последняя — девушка, которая за ними бегала. Разматывая платок, она ушла за перегородку. Василий Васильевич у самого окошечка опять прочел листовку. Андрей, подняв ребром ладонь, сказал, что это призыв к борьбе. Один из фронтовиков ответил:

— Вот, значит, как дела оборачиваются. Ну, что ж, отольем немцу наши слезки... Пойдемте искать оружие...

Так, в эту ночь под носом у немцев произошла мобилизация партизанского отряда в восемь человек, не считая двух мальчиков-разведчиков. Ваня и тот другой — Аркадий — всезнающий, повели партизан, вооруженных лопатами, в темный лес и, не сбившись, показали — где нужно копать. Из ямы — из-под снега и валежника — вытащили пулеметы, из них четыре были вполне готовые к бою. Неподалеку в другой яме откопали ящики с гранатами и штук двадцать мин. Мальчики уговаривали — вытащить из речки, — из-под льда, также обе противотанковые пушки и вызывались даже сами нырять в воду:

— Вы, дяденьки, только сбегайте за пешней, расколите лед, мы студеной воды не боимся.

Но пушки отложили до другого раза. Оружие еще до-светла перенесли на хутор к Василию Васильевичу. Жалко — не было только винтовок.

Наутро он опять колот дрова, напевая в бородку: «Ах, ты, зимушка-зима, холодна больно была, все дорожки замела...» По чистому полю прибежал на лыжах Ваня. Днем он не казался таким маленьким, — курносый и не важный, как давеча ночью.

— Немцы всполошились, нашли за дровами старосту Носкова. Сейчас ходят по дворам, обыскивают, бьют... Крик стоит. На федюнинном дворе грудного как головой о косяк грохнут... Все наши ребята ушли в лес... А этот мальчишка, который с нами был, — не знаю, врет, не знаю, нет, — понимает по-немецки немного. Он слышал — они этой ночью ждут грузовиков... Сказывай, — чего тебе еще узнать нужно?..

— Поди к Капитолине Ивановне, она тебе блинов даст горячих...

Этой ночью километрах в десяти от села Старая Буда колонна немецких грузовиков налетела на мины. Как только головная машина высоко подскочила от резкого огненного удара, из хвойной чащи застучали пулеметы. Немцам некуда было ни сворачивать, ни уходить: с обеих сторон дороги поднималась снежная стена. Их было (как потом подсчитали) двадцать семь душ;

они заметались около грузовиков, дико вскрикивая, без толку стреляя и падая. Из черной тени на лунную дорогу выбежал человек в черной шубе и другой — низенький, с автоматом. — Ура! — закричал человек в шубе, подняв руки. Тогда со снежных обочин посыпались партизаны, бросая кувыркающиеся в воздухе гранаты.

В несколько минут все было кончено. В шести захваченных грузовиках, не считая переднего — сгоревшего, оказались винтовки, огнеприпасы, продовольствие и эрзац-одеяла. Все, что было нужно, партизаны взяли, остальное сожгли в машинах.

Наутро Василий Васильевич опять колот дрова. Мимо пустынного хуторка в этот день прошло немало народу. Каждый, завидев директора школы, кашлянув, или другим способом обнаружив свое намерение, осторожно — околицей — сворачивал к его избенке. Через неделю в партизанском отряде, под командованием Василия Васильевича Казубского, находился свыше двухсот человек и две пушки. Тогда было приступлено к основной операции — уничтожению в селе Старая Буда немецкого гарнизона.

*

СЕМЕРО ЧУМАЗЫХ

На помощь партизанам прорвалась через фронт крупная кавалерийская часть. Самый прорыв был не сложен, — немцев обманули демонстрацией в одном месте, а главные силы перешли через шоссе в другом. Но поход в сорокаградусную стужу по лесным чащобам был небывало тяжел. Лошади вязли в снегу по брюхо; спешенным кавалеристам приходилось утаптывать ногами снег и подсекать деревья, чтобы протаскивать сани и пушки; люди, замученные дневным переходом, ночевали в снегу, не зажигая костров.

На седьмой день похода стало ясно, что людям нужно погостить. Для отдыха определили пять деревень, раскинутых по берегам речонки близко одна от другой. В деревнях стояли немцы. Генерал приказал занять их без шума, так,

чтобы факельщики не успели поджечь домов, и так, к тому же, чтобы ни один немец не ушел оттуда.

В ночь деревни были обойдены, на дорогах выставлены засады. Под завывание вьюги, бесновавшейся похоже на то, будто все лешие из области собрались сюда помогать русским, — спешенные эскадроны вместе с вихрями снега ворвались в спящие деревни. В середине ночи пять — одна за другой — зеленых ракет, пронизавших летящие снеговые тучи, оповестили, что приказ выполнен.

Генерал слез с коня около покосившегося, с кружевной резьбой крылечка, озаренного с той стороны улицы догорающими стропилами; у крыльца уткнулся немец, будто рассматривая что-то под землей, болотную шинель его

уже заносило снегом. Генерал вошел в избу и потопал смерзшимися сапогами; женщина в темном платке, с бледным, измятым лицом, бессмысленно глядела на него, тихо причитывая... «А ну-ка — самоварчик», — сказал он, сбросил бурку на лавку, стащил меховую бекешу и сел под божицу, потирая опухшие от мороза руки: «А хорошо бы и баньку истопить...» Женщина мелко закивала и, уйдя за перегородку, кажется, зажала себе рот, чтобы громко не закричать.

С мороза в избу входили командиры, все довольные, точно приехали на курорт, — бойко вытягивались, весело отвечали. Генерал нет-нет да и прикладывал ладони к пылавшим щекам, с отросшей щетиной, — ему казалось, что лицо от тепла расширяется, как баллон. А генерал следил за своей внешностью. «Вот чёрт, придется выспаться разок за семь дней...»

Самовар внес высокий паренек, — лицо его было в лиловых глянцевиных рубцах, карие глаза мягко посмеивались, когда, сдунув пепел, он поставил самовар и начал наливать в чайник.

— Это мать, что ли, ваша? Чего она как душно воет?

— Все еще опомниться не может, — бойко ответил паренек. — Немцы уж очень нервные, — у нее крик-то этот ичней в ухах стоит.

— Немцы ли нервные, русские ли нервные, — без усмешки сказал генерал, обжигая пальцы о стакан. — А много ли в деревне вас — беглых военнопленных?

Пятнистый паренек опустил голову, опустил руки, сдерживаясь — незаметно вздохнул:

— Мы не виноваты, товарищ генерал-майор. Очутились мы позади немцев — между первым их и вторым эшелонам, как-раз одиннадцатого сентября... Ну, вот, и рассеялись...

— Инициативы индивидуальной у вас, бойцов, не нашлось — пробиваться с оружием?... Стыдно? (У паренька затряслась рука, прижатая к бедру.) Ну, иди, топи баню, утром поговорим.

Утром генерал, помывшийся в баньке, выспавшийся, выбритый и опять красивый, вышел на крыльцо. С тепла дыха-

ние перехватило морозом. У крыльца, где сквозь чистый снег проступали алые пятна и немцы уже были убраны, стоял давешний пятнистый паренек и с ним шесть человек — на вид всем по восемнадцати, девятнадцати лет. Они сейчас же вытянулись.

— Ага, воинство! — сказал генерал, подходя к ним. — Беглые военнопленные? Ну что, ответственности испугались? Красная Армия, значит, не на Урале. Красная Армия сама к вам пришла... Так как же вы расцениваете ваш поступок, — сложили оружие перед врагом! Согласны ему воду возить, капониры чистить?

И он принялся их ругать обидными выражениями. Пареньки молчали, лишь у одного глаза затуманились слезой, у другого между бровей легла упрямая морщина. Одеты все были худо, плохо, — в старые бараньи полушубки, в короткие куртки, на одном — ватная женская кацавейка.

— Красноармейскую шинель променяли на бабий салон! Честь на стыд променяли! Кому вы такие нужны! — крепким голосом рассуждал генерал, похаживая по фронту. — Немца бить — не куршупать... Определите сами свою судьбу. Кто из вас может ответить просто-сердечно?

Ответил крепенький паренек с водянисто-голубыми глазами, с упрямой морщиной над коротким носом:

— Мы вполне сознаем свою вину, ни на кого ее не сваливаем. Мы обрадовались вашему приходу, мы просим разрешить нам кровью расплатиться с фашистами... — Он кивнул на губастого паренька, с изумленной и счастливой улыбкой глядевшего на генерала. — Его, Константина Костина, сестра, Мавруня, найдена нами в лесу, повешенная за ногу, с изрезанным животом... Ее мы хорошо знали, у нас сердце по ней сохло... Так что воду возить фашистам мы не согласны...

Константин Костин сказал:

— Товарищ генерал-майор, в вашей группе танков нет. Мы знаем — где брошенные танки, мы можем их откопать и отремонтировать, — это наше предложение... Мы танкисты.

— Ты что скажешь? — спросил генерал у пятнистого.

— Танки есть. Неподалеку в болоте сидит КВ и два средних. И еще знаем — где танки. Немцы пытались их вытащить, целыми деревнями народ сгоняли, да бросили. А мы знаем — как их вытащить. Конечно, население поснимало с них части, растащило. Ремонт будет тяжелый. Я сам — механик-водитель, — видите, — у меня лицо чумазое: горел два раза... Но — справимся.

— Хорошо. Мы этот вопрос обсудим, — сказал генерал. — Подите, — хоть в немецкие, что ли, шинелишки оденьтесь, дьяволы.

Отдохнув сутки, кавалерийские полки двинулись в пылающий войною край, где действовало много мелких партизанских отрядов и десантников-парашютистов. Там был «слоеный пирог». Не проходило ночи, чтобы какую-нибудь деревню не окружили партизаны, подобравшись по глубокому снегам. Часовой, наставивший выше каски воротник бараньего тулупа, со слабым криком падал под ударом ножа. Партизаны входили в прелые, набитые спящими немцами избы. Тот из немцев, кто умудрялся выскочить из этого ада выстрелов, воплей, ударов — на улицу, все равно далеко не уходил, — одного валила пуля, другого пристукивал дед Мороз, променявший сказочную и елочную профессию на вымораживание немцев. Проселки стали непроезжими. По большакам проскакивали лишь грузовые колонны под сильной охраной, и то не всегда. Движение по железной дороге прекратилось, — путь был загроможден подорванными на минах паровозами и вагонами, вставшими дыбом друг на друга. Немцы теряли голову в этой «проклятой русской анархии».

Двигаясь широким фронтом, кавалерийские полки выбивали немецкие гарнизоны, и к концу марта месяца помогли партизанам воссоединить под советским флагом несколько округов. Народ повеселел. Повсюду искали оружие, укрепляли деревни, где у околиц стояли на охране девушки с винтовками. Но долгая в этот год зима уже ломалась, на крышах повисли сосульки, прилетели

худые грачи и кружились, тревожно крича, вокруг прошлогодних гнезд. Пошли разговоры о том, что немцы на западной и северной стороне края стягивают крупные силы. Генерал послал разведать, — подлинно ли те семь пареньков-танкистов что-либо разумное сделали за это время.

Семеро танкистов сдержали слово. Дело у них началось с бочки трофейного бензина, про которую они тогда ничего не сказали генералу. Они привели в порядок два немецких трактора и отремонтировали один советский, утопленный колхозниками в пруду. Осенью в этих местах немецкие танки окружили КВ и он, вместо того, чтобы проложить себе путь пушками и гусеницами, или погибнуть со славой, кинулся уходить лесом, проломил дорогу в столетних соснах и увяз в болоте по самую башню.

Пешнями и топорами они вырубали кругом танка туннель в промерзшей земле, в котлован под перед танка подвели бревна, — их тут много валялось под снегом после бесплодных немецких попыток; сняли с него цепи и, прикрепив к трем тракторам, разом выдернули из ямы стотонную стальную крепость КВ. Тогда они сели и покурили — в первый раз за два дня и три ночи. Покурив — тут же в снегу уснули. Танк они отволокли в деревню под навес для сушки хлеба, и тогда начались большие хлопоты.

На танке не было карбюратора, все свечи надо менять, поршневые кольца ни к чорту не годились, вся оптика украдена, ствол пушки пробит насквозь противотанковой пулей, и самое отчаянное было то, что не оказалось инструментов, ни одного ключа, и, если бы эту развалину даже отправить на ремонтный завод, там бы провозились с ней до седьмого поту. Танкисты приуныли.

— Наобещали генералу, эх, ребята, подлецами оказываемся, — малодушно сказал губастый Константин Костин.

— А кто же знал, что народ кругом вор, — закричал на него чумазый Федя Иволгин. — Какому чорту сиволапому, например, карбюратор понадобился! Ци на нем варить?

Они сидели вокруг танка под навесом, куда с одного края метель наносила голубоватый, как сахар, сугроб, дымящей поземкой.

— Шарик в башне надо менять, — тихо проговорил башенный стрелок, худощавый брюнет, похожий на девушку с усиками, — а дыру в стволе, в пушке, пальцем, что ли, заткнуть?

— Товарищи, кончили психологию? — спросил тот самый — с водянисто-голубыми недобрыми глазами, техник-студент, москвич, Сашка Самохвалов. — А то я начинаю жалеть, что связался с такой сопливой компанией. — Он встал и засунул руки в карманы длинной, ему до пят, германской шинели. — Вот мой приказ, — на ремонт этого крокодила — три недели сроку. Для этого надо вытащить из болота оба средних танка, на них найдем некоторые части. Не найдем — пойдем по деревням, из избы в избу, — отыщем все, чего не хватает: у мужичков все припрятано. Кто со мной не согласен — предлагаю того заклеить изменником родине...

Танкисты помолчали, глядя, как ветер отдувает ему полу немецкой шинели.

— Немного ты перехватил, дружок, — сказал ему чумазый Федя Иволгин, — но, в общем, конечно, правильно.

Все поднялись, взяли пешни, топоры, стали заводить тракторы. Вытащить из болота средние танки оказалось много легче. Их тоже поставили под навес. Трое танкистов — Иволгин, Самохвалов и Костин — занялись разборкой моторов. Четверо пошли на деревню — искать по дворам инструменты и разные части, и, действительно, у одного мужика, кузнеца, значившегося в колхозе кустарем-одиночкой и лодырем, обнаружили среди ржавых замков и примусовых горелок все три карбюратора.

Он пришел туда же под навес, где стояли танки. Звали его Гусар, — был он жилистый и стройный, несмотря на года, с насмешливым морщинистым лицом, на котором большой лоснящийся нос выдавал пристрастие к выпивке. Ядовито улыбаясь, он слушал, — какие именно инструменты и ключи необходимо достать, или немедленно сделать.

— Антиресно, — сказал он, — антиресно, ведь меня уж давно собрались в архив сдать, да, значит, опять пригодился кустарь-одиночка...

На другой день он принес несколько ключей, так отлично сделанных, что танкисты удивились: — неужели, Гусар, это ваша работа?

— Антиресно, — сказал он ядовито, — антиресно ваше мнение о русском человеке... Кустарь-одиночка, пропойца... Так... А кто пьян, да умен — два угодя в нем... Нет, товарищи, поторопились вы судить русского человека.

У Гусара работа так и горела в руках. Хитер он был до удивления. На колхозной лошади сгонял на сожженную немцами паровую мельницу и привез оттуда стальные тросы и чугунные шестерни, — из них смастерили под крышей сарая подъемный кран и трактором вытащили из танка башню. Он бегал на лыжах по окрестным деревням и умудрился достать автогенную горелку и трофейные баллоны с кислородом. Он же подал простую идею: бронебойными снарядами прочистить от заусенцев простреленный ствол пушки. Со второго выстрела бронебойным снарядом ствол стал снова гладок; сквозную дыру в нем, в которую выходили газы, забили стальными пробками и на это место навели бандаж из резинового шланга. Пушка была, как — только-что — с завода.

Тем временем танкисты приволокли к сараю еще четыре легких танка. По деревням уже знали об этой работе, и колхозники обшаривали болота в поисках боеприпасов и танков. Не проходило дня, чтобы к сараю не подъезжали сани, — валил пар от клочкастой лошаденки, которой в свое время побрезговали немцы, в санях сидел дед, с сосульками на усах, с древним строгим взором круглых глаз под изломанными бровями, и его внучонок, — мальчишка — не видно от земли, — звонко спрашивал у чумазых от гари и масла танкистов: — Эй, дяденьки, куда сложить сорокапятимиллиметровые осколочные?

Когда посланный генерала приехал в эту деревню, под крышей сарая дымили горны, шипел ослепительно голубой

автоген, грохотали молотки по стали; один средний и два легких танка стояли готовые к бою; КВ, с надетыми гусеницами, дымил и стрелял в выхлопную трубу, но еще не заводился.

— Передайте генерал-майору, что поддержка только за командами, — сказал посланному, лейтенанту с тонкими губами, Сашка Самохвалов, — пускай пришлют смелых водителей, механиков и башенных стрелков. Да пускай торопятся доставать горючее. Оптике у нас нет, — все поснимали немцы, приходится стрелять наводкой через дуло, это тоже возьмите на карандаш... А покуда вы будете канителиться — мы еще подкинем парочку крокодилов.

Лейтенант молчаливо все записал в блокнот, не выражая ни удивления, ни восторга; пожал руки семерым чумазым, восьмому Гусару и улетел на «огороднике» бреющим полетом.

Тронулись, наконец, шумные весенние воды и так затопили поля и леса, так буйно вздулись речки и верхом потекли овраги, что и думать нечего было о войне. Колхозники готовились к севу. Девушки с винтовками, скучавшие у околиц, сдвинув брови, глядели на косяки перелетных птиц. Генерал приказал достать побольше книг из местных библиотек, чтобы занять умы и сердца кавалеристов разумным чтением. Но на триста верст в окружности все библиотеки были уничтожены немцами, удивительно, как у них хватило заботы — сжечь столько книг. Нашелся только затрепанный роман Вальтер Скотта «Квентин Дорвард». Генерал проглотил его в одну ночь, лежа без сапог и гимнастерки на лавке у окна, за которыми в беловатом свете падали тяжелые капли и по всей деревне кричали петухи. Затем книжка пошла по взводам и эскадронам для чтения вслух.

Но земля просохла, и немцы, довольные тем, что недостаточно замучили русских людей, недостаточно сожгли сел и деревень и порезали скота, двинулись в наступление десятками батальонов и сотней танков на разгром «мужичья». Но у «мужичья», не в пример прошлой осени, были теперь хорошо сформированные и вооруженные парти-

занские полки, и, не в пример осени, всем был известен немецкий характер, от которого можно ждать только смерти русскому человеку.

По всему фронту вспыхнули бои. На помощь партизанам, всюду, где становилось тесно, поспевали кавалерийские полки генерала. Это были прославившиеся в декабрьских и январских боях лихие полки — все из украинцев, донских, кубанских, терских и сибирских казаков. Они знали четыре заповеди: не признавать окружения, выходить при любых обстоятельствах из любой создавшейся обстановки, биться до последнего патрона и живым не сдаваться, любить свое оружие и не бросать его даже в смертный час.

День и ночь немецкие самолеты пронеслись над селениями, едва не задевая колесами соломенные крыши, бомбя и обстреливая все живое, по всем большим и проселкам грохотали их танки. Задача заключалась в истреблении немцев, в создании такого сопротивления, чтобы русская земля стала для них землей отчаяния.

Во время одного из первых боев двенадцать немецких танков, беспечно и близко один к другому, двигались большим. Окружалась большая группа партизан и танки заходили им в тыл. Справа столетние сосны шумели под свежим майским ветром, слева расстилась густая ольховая поросль. Оттуда, из этого майского шума листвы раздался пушечный выстрел и головной танк, пораженный в борт, остановился и задымил. Второй снаряд разбил гусеницу у другого танка. Немцы захопнули люки и, стреляя из пулеметов, повернули в поросль, где, как поняли они, скрывается партизанская пушка. Но это оказалось не пушкой. Раздвигая ольховые заросли, как кабан из тростников, вылетел ржавую громадой КВ. Немцы никак не могли ждать здесь советских танков да еще такого непробиваемого никакими снарядами чудовища.

КВ, переваливаясь, выехал на большак, почти в упор расстрелял третий танк, внезапно разлетевшийся от взрыва, со всего хода влез сбоку на четвертый и раздавил его с чудовищным хру-

стом вместе с немцами. Уцелевшие танки повернули и уползли за поворот дороги. На КВ откинулся башенный люк, из машины на дорогу выскочили Сашка Самохвалов, Федя Иволгин и Леша Ракитин, — похожий на девушку с усиками, — чумазые, возбужденные...

— Ну и сукин же кот этот Гусар! — закричал Сашка Самохвалов. — Конечно, мотор барахлит! Давай, ребята, снимай у немцев карбюраторы...

В то же время, на крутом берегу речки спешенный эскадрон Ивана Сударева сдерживал немцев на переправе. Выли и рвались немецкие мины, перед щелями, где сидели кавалеристы, от сплошной завесы разрывных пуль кипела и дымила земля, рвалась шрапнель, проносились огромные крылатые тени бомбардировщиков, с грохотом содрогался весь берег, и взметенные столбы, опадая, стучали комьями по шлемам и спинам людей. Немецкая пехота уже начала выбегать из приречных зарослей, солдаты налегке, в одних рубахах, бежали по воде...

Тогда на выручку Ивану Судареву успели два танка чумазых, — средний и легкий. Они повисли на самом обрыве, над рекой. Через несколько минут очень много немецких солдат поплыло по ее медленному течению, опустив в воду голову и ноги. Иван Сударев поднял из щелей эскадрон, и русские скатились с обрыва на тех немецких пехо-

тинцев, которые успели уже переправиться вплавь и на лодках на эту сторону.

В бою легкий танк погиб, — это была первая потеря самохваловского «танкового батальона». Средний, расстреляв все боеприпасы, ушел в лес за пополнением. Ящики со снарядами лежали в яме, прикрытые ветвями. Когда Константин Костин и двое чумазых начали вытаскивать ящики и подавать их в танк, безо всякой осторожности — крича друг на друга, — по всему лесу торопливо застучали немецкие автоматы, пули защелкали по броне. Тогда чумазые, присев в яме на корточки, стали разбивать ящики и передавать снаряды через люк в моторе — четвертому, сидевшему в танке. Автоматчики приближались, — на виду перебежали от дерева к дереву. Трое чумазых, погрузив снаряды, изловчась — вскакивали на гусеницу — в люк, последним кинулся Константин Костин — вниз головой. Люк захлопнулся, и танк погнался за автоматчиками. Одного из них, офицера, взяли живым, отвезли в штаб.

Таков был первый бой «семерых чумазых», как их потом прозвали. Генерал вызвал к телефону старшину Самохвалова и лично поблагодарил его и остальных товарищей за стойкость.

Чумазые поняли это, как то, что родина их простила.



НИНА

Чем здоровее человек, да чем грубее и проще жизнь наша, тем он чувствительнее... Не так ли? Пустое болтают, будто у Ивана Сударева вовсе нет нервов. Как начнешь иной раз вздыхать, привяжутся жалостливые воспоминания, — уходишь от разговоров, ложишься в траву... Ветер качает травинки, метелки, виден край неба... И сердце стучит в землю: матушка, земля родная, отворись, приласкай дорожного человека...

Вспоминается мне один случай в начале войны. Вам известно, — и рассказывать не стоит, — в каком красивом положении оказались наши пограничные

войска, когда он в первый же день разбомбил наши аэродромы. В тылу некоторые и до сих пор говорят, будто части Красной Армии тогда бежали. Нет, не оскорбляйте безвестных могил, в них лежат преданные сыны родины, — жизнью своей они купили возможность нашей победы. О их груди разбилось безудержное немецкое нахальство. Стволы пулеметов и винтовок накалялись докрасна, — так мы дрались, отступая. Он окружал нас бесчисленными танками, автоматчиками, бомбил и забрасывал минами, как хотел. Мы пробивались и

пробились; нам было туго, но и немец ужаснулся от своих потерь.

Не спорю, — были среди нас малодушные. Вылежав без памяти бомбежку, отряхивались и глаза отворачивали: — «Ну — его взяла...» Эти сдавались. И еще была причина. Нас многому учили, но не все крепко усвоили, что в бою у каждого должно быть инициатива. Мы глядели на командира, — он отвечал за все... А если он убит... Мы — без головы?.. Вот что тогда губило многие части... И тогда же стала расти у нас инициатива... Народ смысленный, в драке злой... Гордость наша стонала. Как праздника, ждали — добраться до него врукопашную.

Неман остался позади. Мы потеряли связь с частями. И тут немец навалился со всех сторон. Мы наскоро вырыли узкие щели, сидим в них — броневой пуль у нас, и тех нет. А он клянет нас минами со всех сторон, самолеты — волна за волной, земля скрипит от взрывов, пыль, вонючая гарь, в глазах, в ушах забито песком. Иной подлец так низко пронесется, поливая из пулеметов, — белесую рожу его успеешь разглядеть.

А мы сидим. Заповеди наши помните? Не признаем себя окруженными и — все. И ему остается самое нежелательное, — итти с нами на рукопашное сближение. И точно, — все стихло, ни выстрела, в небе — ни звука. Начинаем слушать, как шумит лес. Высовываемся из щелей, видим — зарево заката, большее солнце в последний раз светит нам из-под тучи.

Берем легко раненных, способных держать винтовку или хоть ногами передвигать... Осторожно — перебежками направляемся к лесу. Там — знаем — группа автоматчиков и пулеметы. Ползем впритирку в траве между кочками, — одна забота — ближе подобраться, — на ура. А ему бы уж время открыть по нас огонь.

Помню, — дрожь меня пробрала: что за чорт! — мы уже в полтора роста шагах, он должен нас обнаружить, почему он молчит? Встаю, прижимаюсь грудью к березе, вглядываюсь, — на опушке никакого движения. В чем тут уловка?

И вдруг начинается трескотня в глубине леса, правее этого места. Трассирующие пули, — синие, красные, зеленые, — замелькали, потянулись нитками. И слышим — русское ура! Глотки у нас сами разошлись, — мы поднялись и тоже — ура! Проскочили то место, где еще днем сидели немцы, и встретили их в лесной чаще. И отвели душу на этих автоматчиках.

Произошло вот что: отставшая от одного полка неполная рота, под командой лейтенанта Моисеева, пробиваясь на восток, — разведала о нашем окружении и, будучи в соседстве, решила нас выручить, — с тылу ударила по автоматчикам. Мы в этот прорыв и вышли.

Моисеев был пылкий человек, рожден воинном. Кто он такой на самом деле, мы так и не узнали, — кажется — служил где-то в Западной Белоруссии. Прямой, среднего роста, лицо невыразительное, обыкновенное; рукава гимнастерки засучены по локоть, — всегда смеялся добродушно, но взгляд острый, умный. Да, есть золотые люди на Руси.

Пробиваемся вместе с ротой Моисеева на восток. Сами ищем немцев, — гарнизон ли, оставленный в деревне их первым эшелоном, или десантников, — нападаем первые, и немцы перед нами бегут. Обросли мы бородами, черные все стали, — уж не знаю — от грязи ли, от злости. Бывало Моисеев посмеивается: с такой армией да под музыку, да по Берлину пройти, на страх немцам, вот будет лихо...

Однажды около полустанка, где стоял разбитый, покинутый состав и только что побывали немцы, на зеленом, зеленом, сыром лугу, на нескошенной траве увидели лежащую молодую женщину. Руку положила под голову, другую прижала к простреленной груди, — была, как спящая, опущены ресницы, ветерок шевелит каштановые волосы, только с уголка побледневшего рта — струечка крови. Около женщины ползает черноглазая девочка, лет двух, в платьице горошком, тормозит ее и все повторяет: «Мама спит, мама спит...» Мы подошли. Девочка прижалась к матери, ладошками сжала ее щеки и глядит на нас, как испуганный галчонок. «Товарищи, что

там, что там?» — слышим. Бежит Моисеев, рвет на себе ворот гимнастерки. Мы молча расступились. Он остановился и будто про себя, с удивлением: «Мои, мои, жена, дочь...» Схватил девочку, притиснул к себе... Опустился у жены в изголовье и заплакал, затянул, как ребенок; тут и девочка заревела.

Бойцы, кто засопев, кто вытирая глаза, отошли. Я отобрал у Моисеева револьвер, и на некоторое время оставили его одного с девочкой; стали копать могилу под тремя кудрявыми березами.

Жена его, должно быть, бежала — в чем была — с дочкой из Белостока, пробиралась, где пешком, где на грузовике, где случайным поездом; на этом полустанке незадолго до нас немец их разбомбил; выскочила, побежала по зеленому лугу. А у немецких летчиков, у желтогубых мальчишек, особенный спорт пикировать до бреющего полета на бегущую без памяти женщину с ребенком... Может быть, она часу только не дождалась встречи с мужем...

Вырыли могилу под березами, думали, что для одного человека, а пришлось положить туда двоих. Прискакал один из наших разведчиков на заморенной лошаденке, сообщил, что обнаружена группа мотоциклистов на большаке, который пересекал около этого полустанка железнодорожный путь. Можно было, конечно, отойти незаметно, не ввязываться в драку. Но подошел Моисеев с девочкой на руках, у него даже лицо изменилось, стало серое, глаза погасли. «Никак нет, я не согласен, — сказал он, — хочу встретить их, как должно... Только так, только так, товарищи...» Погладил девочку по головке и передал на руки бойцу, раненному в голову, и — мне, повелительно: «Возвратите мое личное оружие».

Моисеев сам провел всю операцию, — в узком месте дороги навалил деревья, посадил в засаду пулеметчиков и стрелков, и, когда немцы беспечно и с удивлением остановились около завала и задние машины подтянулись, он истребил их огнем и штыками, — всех до последнего человека. То ли он, действительно,

искал смерти в этом бою, то ли душила его злоба, — он вертелся с винтовкой в самой гуще схватки. Весь живот ему прошило из автомата. Все же он нашел силы, сел на дороге, оглядывая немецкое побоище... «Ну вот, Маруся, — сказал, видимо, уже немножко не в себе, — это по тебе тризна, хороним тебя с музыкой...» Повалился на левый бок, посившей рукой потащил из кобуры револьвер. У него был весь живот перерезан...

Похоронили их обоих в одной могиле. Девочка на руках у того бойца, представьте, не плакала, но глядела, как взрослая, когда зарывали ее мать и отца. Может быть, не понимала, что мы делаем? Хотя — нет — дети в эту войну понимают больше, чем нам кажется. У них в умишках многое копошится и созревает со временем...

К вечеру в лесу, на привале, мы вскипятили воду в шлемах, помыли нашу девочку, завернули в плащ-палатку, устроили ей гнездо из ветвей и на охрану поставили с винтовкой бойца-пограничника Матвея Махоткина, страшного на вид мужчину. Девочка спала плохо, все просыпалась, звала: «Мама...» Матвей ей говорил: «Спи, спи, не бойся...» Но уже на другой день она затихла. Матвей никому ее не доверял, сам нес на руках, и добился — как ее зовут; она долго не хотела говорить, потом вдруг сказала ему на ухо: «Нина...»

Еще много дней пробивались на восток через немецкие заслоны, а, когда вплотную подошли к линии фронта, решили девочкой не рисковать. В местечке Немирово попросили незнакомую женщину Рину Михальчук, — понравилась она нам, поверили ей, — взять наше дитя. Что было у нас сахару и белых галет — все отдали этой женщине в приданное за Ниной. Уходили из Немирова — заглянули в ее хату. Нина прыгала у приемной матери на руках, а женщина тихо плакала... Вот и вся моя история...

Осталась наша Ниночка на западе, у немцев. И могила под теми березами — у немцев...

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Вот они!.. Поползли гуськом — один, другой, третий, — с белым кругом, как кошачий глаз, с черным крестом... Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филипповича. Как только загромыхали танки, он подскочил на лавку к окошку, прилип к стеклу, но, когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов — в сером влажном свете — немецкие лица глядели пустыми глазами, — тоже — серые, мертвенные, брезгливые.

Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие, громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:

— Господи, страх-то какой... Ну, что ж, Петр Филиппович, может, теперь людья будем?

Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу, — небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, плешивый. Прасковье Савишне хотелось заговорить о ихнем доме, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа, с того дня, как ее, в четырнадцатом году, взяли из бедной семьи в богатую, старобрядческую. С годами, как будто, и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв десятилетний срок наказания, она опять начала его бояться, и теперь ей было это очень обидно: для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает, но как ни повернись, на все у него — усмешка, все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают, теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читая книги. Для этого привез очки с севера.

Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собирать обедать, накрошила капусты, луку, овощей, налила в чашку жидкого квасу и сердито кликнула детей.

Обедали с заплесневелыми сухарями, — зерно, мука, копченая гусятина и свинина — все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы ладонями, — это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непосредственностью:

— Вывеску сельсовета-то содрали, должны теперь нам вернуть дом.

Положив ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами, — излилась в длинной, сто раз слышанной, жалобе. Петр Филиппович и дети, — мальчик, такой же рыжий, как отец, и двенадцатилетняя дочь, с молочно белым, угрюмым лицом, молча продолжали хлестать крошанку. Наконец, Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее:

— В селе Благовещенском уголовного одного, — это все говорят, — бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадь... А у тебя, слава богу, заслуги-то выстраданные...

— А и дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная, — только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и затихла.

На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший, под железной крышей, отцовский дом Петра Филипповича, что стоял через улицу, наискосок от избенки, в которой он жил сейчас; солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого почти вся молодежь, — девушки и пареньки-подростки, — скрылись из села: кто-то их сманил. Немцам это очень не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они наклеили объявление, — на двух языках, на хорошей бумаге, — правила поведения для русских, с одним наказанием — смертной казнью. Потом начались повальные обыски. Перепуганная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат — специалист по отысканию спрятанных поросят: ти-

хонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и — не отличишь, хрюкает и слушает. Действительно, на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке... Уж так-то эти бабы потом плакали...

Немцы отбирали все, обчищали избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам носильные вещи из сундука в подполье, оттуда — в золу, в подпечье, или еще куда-нибудь. Наконец, Петр Филиппович закричал на нее, затопал ногами: «Сиди ты спокойно, или уйди, умри где-нибудь, сгинь...!» Дом их был будто под запретом, его обходили мимо. Наконец, явились двое с винтовками. Петр Филиппович надвинул на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный, в очках, вполне интеллигентного вида, немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет четырнадцати, обшаривал ее и щупал; она испуганно подставляла локти, шептала: «Не надо, дяденька, не надо». Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок, — она споткнулась, пошла; он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича, — не в лицо, не в глаза, а выше. «Это и есть Петр Горшков?» — спросил он, несколько задыхаясь.

Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей; дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, вцепившись в горб. Стены были свежешелые, полы вымыты; в комнате — в три окна — пахло сигарами, — здесь в прежние времена по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича — так же — выше головы и сказал по-русски:

— Снять картуз и сесть на стул у двери.

Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором; на черных петлицах — серебряные мол-

нии (которые на древнем, руническом, алфавите обозначали буквы «с» и «с», а также главные атрибуты германского бога войны — Тора).

— Ваша биография нам известна, — заговорил он после продолжительного молчания, — вы были врагом советской власти, таким, надеюсь, продолжаете оставаться. (Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бороду, глядел на господина офицера блестящими точками сквозь морщинистые щелки.) Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас: полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами; заставления населения работать; русские не умеют работать; мы, немцы, этого не любим, — человек должен работать от утра и до ночи, всю жизнь, иначе его ждет смерть; на моей родине, у моего отца, есть маленькая мельница, на ней работает собака, — она день и ночь бежит в мельничном колесе; собака умное животное, она хочет жить, — этого я не могу сказать про русских... И так, вы будете назначены бургомистром села Медведовки. В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности...

Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему:

— Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?

— Как же, как же, — ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.

— Что еще сказали-то тебе?

— Велели, чтоб ты мне баню истопила.

Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа. Но переспросить побоялась... «А хотя и верно — сегодня ведь суббота, немцы порядок любят...» Надела сапоги и пошла топить баню на берегу речонки.

Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома.

Партизаны, о которых так беспокоилась хорошенький немец с-молниями на воротнике, имели штаб — не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой, но попасть туда было очень

трудно: дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту, посреди его на твердом острове помещался штаб; все подходы к нему охранялись секретами; немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда чужой человек — услышал бы он, как вдруг, где-то рядом, застучал дятел, ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки, — постукивание и посвисты, воронье карканье, собачье потягивание... Жутко бы стало чужому человеку...

Сегодня в безветрии моросил мелкий дождичек. В штабе партизан значительных операций не предвиделось. Небольшие группы — в три, четыре человека — ушли, как обычно, одни — в разведку, другие — ставить мины на большаке. Особая группа еще с темна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого известью, чтобы обнаруживать следы партизан, оттопывали каждый свои два километра немецкие часовые, угрюмо и опасно поглядывая по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, в осоке, под заломанными ветвями лежала наблюдательница — девушка, вооруженная карабином и двумя черными гранатами, величиной с гусиное яйцо; подальше, за вывороченным корневищем, сидел мальчик, — ему пришлось видеть, как всю семью, — мать, бабушку, сестренку, — серо-зеленые солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом и ночью сарай запылал, и среди криков слышался голос матери... Лицо у мальчика было желтое, в старческих морщинках, он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоко надвинутом шлеме.

Когда один из часовых прошел то место, которое было намечено партизанами, за его спиной проворный паренек, в туго подпоясанной стеганой куртке, одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, и тотчас другой паренек, так же бесшумно, кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкладывать под рельс сложный и страшный снаряд.

Грохоча по лесу, показался поезд, видный весь на завороте пути; попрыгивающие белые клубы дыма стлались к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко дышащий паровоз приближался, — часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий взрыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельса, свистя осколками, отскочил в сторону, паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы, сзади на его занесенный зад с треском начали громоздиться вагоны, вдвигаться один в другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серо-зеленые человечки...

Кроме таких дел у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба, Евтюхов, тихо беседовал с гостем, начальником конной разведки, Иваном Сударевым. Сидя около замаскированной землянки, на сваленной сосне, под моросящим дождичком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспетое еще Пушкиным. В такую сырость у обоих ныли старые раны. Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него не хватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах. «Нужен глубокий разведчик, где его найти! Вот мое горе».

— Твое горе основательное, — рассудительно сказал Иван Сударев и выплеснул из жестянки остатки слабого напитка. — Без глубокой разведки отважный дерется с завязанными глазами, а это есть абсурд.

Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девушки, в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках, в больших сапогах. Держа в руках винтовки, с прижатыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки. Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ~~ими~~ в

трех километрах отсюда и непонятно, как он пробрался через секреты.

— Это жирный карась, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — В Медведовке я у него раз ночевал, умён и хитер, интересно, что он скажет.

Петру Филипповичу развязали глаза, девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на затуманенные вершины леса, вздохнул:

— К вам, собственно, я и шел, дело у меня к вам...

— Любопытно, какое у вас ко мне может быть дело? — ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него. — Немцы, что ли, обижают?

— Наоборот, немцы меня не обижают... Я же десять лет отбывал наказание за вредительство.

— Вам известно, Горшков, что вот вы, — незванный, — пробрались сюда, но обратно будет вам трудно вернуться?

— Как же, известно... Я и шел на смерть...

Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревно:

— Да вы садьте, Горшков, будет удобнее разговаривать. Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?

Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом...

— Принял, принял в расчет, что вы мне не поверите... Податься было куда, — вчера вызвали меня и, видишь, предложили должность бургомистра... У немчиков — круговая порука, вот и меня решили связать преступлением: в понедельник должен быть при казни двух ваших партизан...

Евтюхов не усидел на бревне... — Фу ты, чорт! — У него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.

— Сядь, это всегда успеешь, — сказал ему Иван Сударев. — Продолжайте, Горшков, мы вас слушаем.

— Наперед вот что хочу вам сказать: действительно, я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой орга-

низации не состоял, это мне пришили, но — был зол и все... Не верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве... Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как полагается... Что похоронят меня с честью на русской земле... Не было у меня прощения... Ну, там, связался с одним агрономом. Дал он мне порошки... Подумал, подумал, — коровы, кормилицы, лошадки — чем же они виноваты? Эти порошки я выбросил, этого греха на мне нет. Агроном-то, все-таки, попался и на допросе меня оговорил... А я молчал со зла: — ладно, ссылайте...

— Странная история, — все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.

— Чем же она странная? Русский человек — не простой человек, русский человек — хитро задуманный человек. Десять лет я проработал в лагерях, — мало, что ли, передумаю? Так: страдаешь ты, Петр Горшков... Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей, — беспокоится о нем Прасковья Савишна, но не я, это у меня давно отмерло... За какую правду ты страдаешь? В городе Пустозерске, что неподалече от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в яме протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать; с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти... Творения Аввакума прочел, — тогда была одна правда, сегодня — другая, но — правда... А правда есть — русская земля...

— Он убедительно говорит, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.

— Торопиться не будем, подойдем к делу. Немчик, офицер, вчера рассказывал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то... А?.. — Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцветными, круглыми, тяжелыми глазами взглянул на слушателей. — Смеются они над русским народом: вон, мол, идет, неумытый, нечесаный, дурак ду-

раком, — бей его до смерти!.. Вчера другой офицерик на улице, при всем народе, щупать начал девчонку, Киселеву Анютку, хорошую такую, милую девочку, задрал ей юбку, задыхается сам... Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться над нами проклятый немец... Становое дело вы делаете, товарищи, спасибо вам... Советская власть — наша, русская, мужицкая... Свой личный счет я давно закрыл и забыл...

Петр Филиппович облокотился, прикрыл ладонью лоб под козырьком каракулевого картуза:

— Теперь — решайте... Ведите меня в лес, расстреливайте... Я готов, только, ей-богу, будет обидно... Или — верьте мне. Предлагайте: давать о них все сведения, я все буду знать, в штаб армии к ним проберусь, — хитрости у меня хватит. Работать буду смело. Я смерти не боюсь, пыток не испугаюсь.

Иван Сударев и начальник штаба, Евтюхов, спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны, трудно было поверить такому человеку, с другой — глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке:

— Решили вам поверить. Обманете, — под землей найдем...

Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился:

— Это счастье. Большое счастье для меня. Сведения буду посылать — куда укажете — через мою девчонку... Сынишка-то в мать пошел, слабый, а дочка, Анна, в меня, — ребенок злой, скрытный...

Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его. В понедельник, такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятное и тыча рукой в сторону сельсовета. Там, на небольшой площади, где еще недавно был палисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика, — два высоких столба с пере-

кладной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями.

Весь народ уже знал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова, — его немцы подстрелили неподалеку от села, в орешнике, и Клавдию Ушкову, учительницу медведовской начальной школы; ее также взяли в орешнике, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова.

Солдаты, взмахивая подбородками и покрикивая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами. Только и было слышно, как кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штыком.

Показался грузовик. В нем стояла учительница, простоволосая, бледная, как покойница, черное пальто расстегнуто, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов. Был он убедительный и горячий паренек, на селе его любили, — ничего от него не осталось, — замучали, — сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера, — длинный в очках, с фотографическим аппаратом, и хорошенький. Оба солидно посмеивались, поглядывая на русских.

Грузовик подъехал, повернулся и задом вдвинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушкова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:

— Товарищи, я умираю, уничтожайте немцев, кланитесь мне...

Солдат сразмаху ладонью закрыл ей рот и сейчас же, торпливо и неловко, начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею. Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:

— Товарищи, убивайте немцев!.. — Другой солдат ударил его по голове и тоже начал натаскивать петлю.

В толпе все громче плакали. Грузовик резко дернул. Ноги Клавдии Ушковой поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно, — она

первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза...

На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился.

Начальник штаба несколько дней после казни дожидался горшковской девчонки в условленном месте, — в сумерках, в овраге, в густом дубняке. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же, присев на корточки, тихим голосом начал подробно рассказывать, как происходила казнь.

— Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые-с... Наказ их предсмертный у всех в ушах... Что же касается сведений, то будут они такие...

И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба и мечтать не мог. Он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова:

— Ну, если ты врешь...

Петр Филиппович не ответил, только развел ладошками, усмехнулся; из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.

— Ну, это ты оставь планы чертить, — сказал ему Евтюхов, пряча бумажку в кармашек, — запрещаю тебе сторожить, должен все держать в памяти... Никаких документов! И больше сам сюда не приходи, посылай девчонку...

Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетели на воздух. Угрюмая, белолицая девчонка Анна прокрадывалась почти каждый вечер в овраг и передавала и важное и маловажное. Однажды она сказала, как всегда, бубнящим, равнодушным голосом:

— Папашка велел сказать: получены новые автоматы; ключи-то от склада у него теперь, — вам первым он отпустит автоматы, приходите завтра ночью; только наказывал: часовых никак не стрелять, а резать их беспременно...

Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он будто издевался над немцами, доказывал им, что, действительно, русский человек — хитро задуманный

человек, и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдохновенным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом.

Оба офицера были уверены, что нашли преданного им, как собака хозяину, смысленного человека. Жили они в постоянном страхе: под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов и таких именно, в которых везли солдат, или особо важные грузы; им в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием — автоматов и пистолетов уже не было, и со склада из Медведовки на фронт отсылались, тщательно закупоренные, ящики с песком. Офицер, с молниями бога Тора на воротнике, не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он отделался испугом, когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так, — не лежи он в это время на низкой койке, — случилось бы непоправимое. В белье он выскочил на улицу. По селу шла трескотня, — солдаты выбегали из изб, кричали: «Партизанен!» и стреляли в темноту. У его крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только наутро хватился сумки, но ее вскорости принес, вместе с чемоданчиком и запачканным мундиром, Петр Филиппович, — он нашел эти вещи здесь же на огороде, очевидно, партизаны бросили их, убегая.

Немцам дорого обошлось бургомистерство Петра Филипповича.. Все же он попался, — на мелочи, вернее, от высокомерной злобы своей к немцам. Он похитил печать и бланк, взял со склада немецкую лишнюю машинку и поехал в село Старую Буду, где партизанил отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город, в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба

офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость: им все теперь стало понятно...

Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила их из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна, — волосы у девочки были, как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное, платишко изодрано на коленях.

— Вы папашку моего ищете?

— Да, да, что такое с ним?

— Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня пытали, он еще сейчас живой висит, идемте.

Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернулась, с трудом приоткрыла зубы:

— Вы не думайте, папашка мой ничего им не сказал...

В коровьем сарае под перекладной висел Горшков, в одних подштанниках, с синими опущенными ступнями; искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в грудь был всунут крюк, — он висел под перекладной, повешенный за ребро...

Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо, уже не в себе, проговорил:

— Ничего... Мы люди русские...

Старики

ЮРИЙ СЛЕЗКИН

Рассказ

★

I.

В переполненном вагоне дачной «электрички» Казанской железной дороги ехали два старика. Они стояли в проходе, согнувшись под тяжестью рюкзаков, опираясь на лопаты. Изредка они взглядывали друг на друга, и этот беглый, немой разговор изобличал давнюю их близость и доверие, какие устанавливаются между людьми долголетней привычкой общения. Но в них нельзя было признать двух товарищей по профессии или друзей, связанных общностью интересов, вкусов и образования. Один из них был высок ростом, плечист, широкогруд, бородач и сед той ослепительной сединой здоровой старости, какая так же пленительна, как и дремучая темень юношеских волос. Другой был приземист, кособок, с наголо бритой головой, с жиденькими усами табачного цвета. Оба старика были худы. И на том, и на другом пиджаки, — у высокого из добротного английского сукна, у низкого — из грубошерстного, — висели мешками, как на спинке стула. Подтянутые щеки высокого еще не утратили живого оттенка, острые скулы его спутника казались бескровными. Но, странное дело, старики точно бы переменились глазами. И когда взглядывали они друг на друга, можно было подумать, что глаза высокого только лишь отражают печаль и усталость глаз его спутника, а глаза приземистого — бодрую жизнерадостность высокого. В действительности, глаза их выражали только то, что присуще было

каждому из них, только то, что сами они чувствовали.

Высокий старик уже много месяцев не расставался с печалью. Она овладела всем его существом, угнездилась так глубоко и прочно, что, казалось, ничто не могло побороть ее. Да с нею, пожалуй, и нельзя было бороться, потому что она уже не доходила до сознания, не давила грудь, даже не мешала работать, как в первые дни. Она только окрашивала все в какой-то странный, тусклый цвет, притушила зоркий блеск глаз, при мешала к пище горький вкус полыни. Началось это с того дня, когда немцами был взят Смоленск — родной город высокого старика. В Смоленске он не бывал с детских лет, даже забыл о нем думать, никого из близких у него там не осталось, но когда весть о занятии этого города врагом дошла до старика, она долго и неотступно преследовала его, как весть о смерти далекого, но любимого друга. Упрямо не хотелось ей верить. Еще меньше хотелось говорить о ней даже с женою, от которой у старика не было тайн. И где-то не угасала надежда, что вот не сегодня-завтра случившееся станет не бывшим. Да, именно с того дня, он физически ощутил, что такое война. Он смотрел на сообщившего ему эту новость коллегу-профессора недоуменным, растерянным взглядом, а видел перед собою Лопатинский сад и памятник Глинке... Там, у памятника, он обычно сидел перед тем, как идти в гимназию на экзамены, и первые

такты «Сусанина» звучали в его ушах... Он, доктор исторических наук, редактор многотомной Истории культуры, он ли не помнил, не знал о том, через сколько войн прошло человечество в своем долгом пути к культуре и счастью?.. А вот, поди ж ты, надо было пасть Смоленску, чтобы в сознании ученого война стала осязаемой сущностью.

Незванный вошел в дом. Он еще не принял живого образа, но он присутствовал здесь, рядом, в просторном кабинете ученого, среди его книг и рукописей. Во время работы он прерывал закономерное течение мысли. Тогда профессор отрывал глаза от листа бумаги и смотрел перед собою на портрет жены, стоящий на письменном столе. И в глазах все глубже залегала печаль...

В сентябре 1941 года он проводил жену на вокзал. Она уезжала со своим институтом в Ашхабад. Он сам настоял на ее отъезде.

— Но, Володя, почему же ты не хочешь ехать?

— Я — другое дело. Ты нужна институту.

— А ты?

— Я нужен Москве, — шутил он, но шутка не звучала весело, как бывало раньше.

В сущности, трудно было серьезно ответить на вопрос: почему он не едет? Он не мог ехать. И дело даже не в том, что трудно было увезти с собою тот ворох материалов, который был ему нужен для работы. И уж отнюдь не было жаль бросать привычные вещи и любимое кресло за столом в кабинете. И не так уже важно было обязательно каждое утро проделывать пешком привычный путь со Спиридоновки к университету и Ленинской библиотеке. Из Москвы Владимир Петрович Баженов уехать не мог, вот и все.

— Но, послушай, а если... — у жены перехватывало дыхание, — а если в Москву придут немцы?

Профессор резко обрывал ее:

— Они не придут.

— Но говорят...

— Я не хочу знать, что говорят!

Голос его неприятно взвизгивал. Он замолкал сконфуженно: он любил жену,

никогда не повышал с нею голоса, они прожили дружно, душа в душу, двадцать два года. Они никогда не расставались. Оба высокие, здоровые, надиво моложавые, с начала вакаций они надевали рюкзак и отправлялись в далекие экскурсии — на Кавказ, Алтай, Камчатку, Поморье... Бездетные, подвижные, любопытные, как дети, счастливые, как молодая влюбленная пара, они не уставали делиться друг с другом своими впечатлениями, своими мыслями, связывая, сопоставляя настоящее и далекое прошлое, сущее и должное, с той живостью и остротой ума, какие свойственны людям непрестанной, долголетней духовной жизни. Он — историк, она — геолог, он — шестидесятидвухлетний старик, она — сорокашестилетняя цветущая женщина — нашли общий язык и общую цель. Их нельзя было представить порознь и более молодыми, чем они были сейчас. Они ограничили себя тесным кругом друзей и знакомых. Почти все были значительно моложе их годами, но ровесниками по интересам и склонностям.

— Вы где сегодня?

— У Баженовых.

И каждый раз отвечавший, кто бы он ни был, невольно улыбался подобревшей, веселой улыбкой.

И вот, вместо Баженовых в Москве остался один Баженов. С ним уже не было так легко и свободно, как с Баженовыми... Профессор пытался быть гостеприимным хозяином, но это не получалось. Он сам сознавал, что выходит плохо, но ничего поделать не мог. Ему мешал незванный, присутствие которого с отъездом жены стало особенно ощутимым...

Но почему же, почему Владимир Петрович не уехал вслед за женой?

В одну очень трудную минуту он сам задал себе этот вопрос.

Незванный похаживал по опустевшим комнатам, давал о себе знать в панических разговорах отъезжающих, в холодных калориферах, в суровом мраке обезлюдивших улиц, в всполохах далекого боя, в гудении аэропланов, вое сирен, возвещавших угрозу воздушного

нападения, в грохоте разрывающихся фугасок...

Нет, уехать было нельзя. Надо было противиться отъезду всеми силами души. Профессор не признался бы не только жене, но и самому себе — он чувствовал себя виноватым в том, что не был в Смоленске, забыл о нем думать в его страшные часы... Так укоряешь себя в том, что не пришел к изголовью умирающей матери. Может быть, твое присутствие отогнало бы смерть? Это очень наивно и очень серьезно. Этим пренебречь нельзя.

Уехать из Москвы, Москвы студенческих дней, родины его духа и счастья, труда и мечты его, — значит поверить в неизбежность смерти.

— Но ведь все едут...

— Далеко не все!

— Но оставаться с немцами...

Вопрошающий многозначительно подымал брови. Баженов вскакивал с места, вытягивался во весь свой рост, багровел:

— Мне, знаете ли, эти шуточки не нравятся! Уезжайте шутить в другое место. Да! Подальше! Подальше!

Он кричал на такого же старика, как и он сам, на свое начальство в некотором роде, на представителя Комитета Высшей школы. Он ушел, хлопнув дверью, и долго после не показывался в университете.

Он бродил по улицам Москвы. Трутары занесло талым снегом, в лицо сыпало какой-то колкой дрянью, на душе было тошно, и неотвязно в ушах звучали подлые слова: «Остаться с немцами»... Как могло притти в голову этому мерзавцу?.. Ну, а если бы они пришли? Вздор, чепуха, гнусность! Их не пустят! В конце концов, если это свершится, мой рюкзак всегда готов... Зачем рюкзак? Если бы это случилось, — все было бы кончено и никакой рюкзак...»

Профессор поднял плечи, длинные полы его драпового пальто мешали ему идти. Он вспотел, он снял шляпу, старую шляпу, купленную когда-то в Италии... Он оглянулся по сторонам...

Сумерки пали на город. Было так же тихо и тревожно, как в комнате умираю-

щего. Посредине улицы шел вооруженный патруль. В небо медленно подымались заградительные аэростаты. Они всплывали, как гигантские карпы из глубины пруда, — медленно и безмолвно. Владимир Петрович смотрел на них, задрав седую бороду. И внезапно неясная мысль сложилась в простые слова:

— Надо все вытерпеть.

Это не была покорность судьбе. Нет, это была твердая решимость отстоять себя, преодолеть смерть, не отрывая своей судьбы от судьбы вот этой тверди, этого города.

Баженов произнес громко:

— Спасаться я не собираюсь. Нет! Авось, как-нибудь уж помаленьку... отстоим.

II.

Но декабрьской ночью ему все-таки пришлось взять свой рюкзак. В нем был портрет жены, университетский диплом, рукописи, две тмные белья и мешок с сухарями, приготовленными женой.

В эту ночь Владимир Петрович хорошо работал. Он заканчивал большую, начатую еще до войны статью о происхождении славян. Он не слышал, как дан был сигнал воздушной тревоги, как забили уже привычные зенитки. Он никогда не спускался вниз, в убежище, со своего шестого этажа высокого нового дома. Он «притерпелся», по его выражению, к «каверзам незваного» и работал.

Внезапно оглушающий грохот, похожий на ливень, стеклянный дребезг и волна ледяного ветра заставили его вскочить на ноги. Невольно он глянул вверх, на потолок. Но потолок, освещенный отраженным светом настольной лампы, был невозмутимо бел, в кабинете все оставалось на своих местах и только двери в соседнюю комнату широко распахнулись...

На пороге никого не было, за порогом—потемки, из потемок разливался, властно овладевал комнатой лютый тридцатиградусный мороз.

Первым движением профессора было закрыть дверь. Он сделал несколько шагов и остановился. В квартире было тихо, стеклянный ливень замер. Его сме-

нил испуганный гул голосов на лестнице, топот ног, крики, хлопанье дверей во всех этажах.

За порогом его встретили хаос, лунные искры на хрустящих под ногами осколках стекла, исковерканные оконные рамы, опрокинутая мебель, груды книг и сорванных со стен картин и платяев, загораживающих проход.

Владимир Петрович не пытался разобратся в этом хаосе. Он стоял в морозном лунном свете, запахнувшись в осеннее пальто, которое было на нем еще до взрыва, так как квартира едва отапливалась. Он глядел перед собою без жалости к погибшим вещам, но со все более возрастающим негодованием. Это была комната его жены. Здесь он отдыхал от работы, здесь собрано было все, что привозили они из своих далеких экскурсий.

Теперь тут лежали только одни жалкие, никому не нужные обломки. И, негодуя, профессор прошел в спальню, ощупью, привычным движением руки нашел висящий на стене рюкзак и, не оглядываясь, вернулся в кабинет. Там все еще мирно горела лампа под зеленым абажуром, освещая написанные мелким почерком листки рукописи.

Владимир Петрович, сурово хмурясь, сжав губы, собрал листки, прихлопнул их ладонью и засунул в рюкзак. Движения его были спокойны и уверенны, как у человека, твердо на что-то решившегося. Но Баженов знал только, что он отсюда уходит. Куда? Он себя не спрашивал. Он не забыл сменить осеннее пальто на шубу, надеть шапку и галоши. Он спускался по лестнице медленно, но неуклонно, крепко ставя ноги на ступени, засыпанные осколками. Его останавливали переполошившиеся, не устававшие обсуждать событие жильцы:

— А как у вас, Владимир Петрович? Ведь вы на самом верху! Вас не контузило? А окна разбиты? У нас все, все окна. Это ужас! Домком обещал фанерой... Но как же эту ночь? Вы подумайте... Фугаска разорвалась посредине улицы, и все дома...

— Не фугаска, а осколочная бомба...

— Все равно... по всему переулку вы-

било окна, говорят, есть жертвы, в доме напротив сорвало крышу...

Владимир Петрович отвечал односложно, жильцы решили, что старик подавлен происшествием, предлагали свои услуги.

— Советуем вам переночевать в убежище — там тепло, можно перенести диван, мы вам поможем...

— Нет, нет, благодарю вас...

Переулок был залит лунным светом, в безоблачном далеком небе гудели наши ястребки, тревога миновала, народ толпился у неглубокой воронки, разворотившей мостовую. Дома зияли выбитыми стеклами, казались вымершими, стены точно поражены были ospой...

Владимир Петрович шел привычным бодрым шагом, знакомой дорогой. Он ни о чем не думал, испытывал особенную легкость, какая приходит с окончанием долгого тяжелого труда и в предвидении нового, всегда более тяжелого и значительного. Если бы в те минуты короткого своего пути он задумался над ожидающими его бытовыми неудобствами, он бы им только порадовался. Он был в том состоянии отрешения от привычного уклада, всегда радостно-волнующем, какое овладевает человеком, вступающим в новую полосу жизни, переезжающим навсегда в далекие края или призванным на фронт, отдавшим себя целиком велению долга.

В эту декабрьскую ночь профессор Владимир Петрович Баженов перешел «на казарменное положение». Война заглянула ему в глаза. Из вполне осознанной, глубоко продуманной отвлеченности она стала действительностью. Наводить привычный порядок в своей квартире, заново обживать ее казалось ненужным и даже физически неприятным. Но Владимир Петрович не был бездушным существом. Ученый, историк, он привык отдавать себе во всем отчет, анализировать, взвешивать, расценивать людские поступки, находить им объяснение и предвидеть их последствия. И теперь, шагая и сурово глядя вперед, он решал самый важный для себя вопрос — не то, где он ляжет отдохнуть в эту ночь, и не простудился ли он на ледяном ветре, и не о том, что в сущности он

остался почти голым, так как, кроме двух пар белья, лежащих у него в рюкзаке за плечами, все носильное платье разорвано в клочья, выброшено из шкапа и валяется с осколками стекла на полу... Он решал и тотчас же решил твердо, что первое побуждение остаться в Москве — правильное, что рюкзак он взял во-время, что ноги его ведут по верному пути — в университет.

Там он примостится жить и работать, ничем не связанный и всегда готовый, готовый к тому, что предпишет ему война.

Владимир Петрович взглянул на часы. Было уже за полночь, хождение по улицам запрещено, но после тревоги в его распоряжении было двадцать минут. Не пройдет и десяти, как он будет на месте...

У ворот его встретил Афанасий Анисимович. Один из давних университетских сторожей, он исполнял теперь обязанности коменданта здания и начальника противопожарной команды.

Они обрадовались друг другу, как два закадычных приятеля, хотя до этого, ежедневно встречаясь, ограничивались только коротким приветствием да несколькими деловыми словами.

— Я к вам, Анисимович, — крепко сжимая обеими руками руку сторожа, говорил профессор, — устройте меня в каком-нибудь кабинете, останусь жить... Дома у меня фугаска учинила форменное безобразие!

— Ах ты, боже мой! Как же так, разве ж это можно? — засуетился Афанасий Анисимович, глядя на нежданного гостя любовным взглядом: — Как же ж можно вас пустить в кабинет? Здание у нас стоит в резервации, отапливаются только жилые помещения, а вы, милости прошу... ко мне! Согреетесь, потолкуем, обсудим специально по форме, найдем подходящее решение...

Он провел Владимира Петровича к себе в подвальное помещение. Там, за толстыми, столетними стенами была жарко натоплена кафельная печь, мирно горела над столом лампа, стояли старинные ампирные кресла, пахло березовым дымком и только-что смолотым кофе.

— Вот моя комната в полное ваше распоряжение, я одинокий, — говорил Афанасий Анисимович, быстро и споро доставая из комода чистое полотенце, убирая со стола кофейную мельницу, наливая в электрический чайник воду. — Вы, Владимир Петрович, разденьтесь, помойтесь, а я бегаю сдам дежурство, пока чайник закипит, вместе кофейку попьем, нынче целых две пачки достал, только-что обжарил и смолот, очень люблю этот напиток, ленинградская привычка...

Баженов с успокоенной улыбкой, ничуть не удивленный радушию человека, в сущности ему мало знакомого, повесил рюкзак на вешалку, снял шубу, огладил ладонью бороду и плотно сел в кресло.

Через полчаса, глухой ночью, профессор и сторож сидели за столом друг против друга, пили горячий, крепкий кофе, прикусывали сахар и вели душевный разговор, забыв о времени и усталости.

В те суровые дни люди безошибочно распознавали близкого человека и вплотную подходили друг к другу.

— Я, видите ли, всех этих громких слов не люблю, Афанасий Анисимович, — говорил Владимир Петрович, широко взмахивая широкой кистью левой руки и осторожно придерживая правой рукой стакан с кофе. — И должен вам сознаться, несмотря на свой крупный рост и сильную корпуленцию, никогда никаких физических аргументаций, а попросту драки не уважал, а потому как-то так всю свою жизнь повел, что далек был от военных дел и в своем кругу обычно все недоразумения оканчивал мирным путем... Вообще улыбку на человеческом лице я ценю всего дороже, и вот, простите, ваше лицо мне потому так и привлекательно... Очень уж у вас, Анисимович, улыбка хорошая.

Баженов откинулся всем корпусом на спинку стула и, прищуривая голубые глаза, ласково оглядел своего хозяина.

— Ну, что вы это! — запротестовал Афанасий Анисимович и невольно заулыбался, но отнюдь не польщенно и заискивающе, а скорее с сочувственной снисходительностью, как улыбаются ми-

лой детской шалости. — Я, Владимир Петрович, напротив, человек суровый, суровую, то-есть, прошел школу и повоевать мне пришлось и в японскую, и в империалистическую, и в гражданскую войну, только теперь в полных инвалидах благодаря контузии...

— Нет! Нет! Это неважно! — замазал на него левой рукой Баженов. — И вы меня прекрасно понимаете! В том-то и штука, я хочу сказать, что мерзавца ударить одно удовольствие! И всего лучше ударит тот, у кого такая вот улыбка добрая, как у вас! Именно так!

Он прихлопнул ладонью по столу.

— Но когда вы будете бить человека за дело, вы никаких громких слов говорить не станете и оправдываться не будете, это побуждение вашего сердца! Так вот, в такие времена, как сейчас, — самое главное, по-моему, отдаться велению сердца!..

Владимир Петрович встал из-за стола и со стаканом в руке прошелся по комнате. Афанасий Анисимович следил за ним сочувствующим взглядом.

— Я очень люблю свою жену, Афанасий Анисимович, — после короткого молчания произнес Баженов и остановился перед своим собеседником. — Об этом как-то до сих пор никому не приходилось говорить, и вы мне простите... Честно сказать, у меня в жизни было только два поглощающих меня чувства — любовь к жене и к моей работе.

Баженов оборвал, точно пытаясь представить себе, как это было хорошо, но тотчас же заговорил снова:

— И скажу вам, так же, как я не думал об этой своей любви, а просто жил этим чувством, так точно я не думал о том, что мне необходима Москва, этот университет, мои слушатели-студенты, наконец, русский язык для выражения моих мыслей, а просто обитал в Москве, общался с молодежью и всего лучше изъяснялся с людьми по-русски... Вам понятна моя мысль?

— Очень даже понятна, — готовно отозвался Афанасий Анисимович.

— И мне в голову не приходила бредовая мысль, что кто-нибудь может меня разлучить с женой, выселить из Москвы, лишить меня моих учеников,

запретить мне говорить по-русски! Именно не приходило в голову!

Профессор с каким-то недоумением растопырил пальцы левой руки, глянул на них, потом на стакан, зажатый в правой ладони, торопливо глотнул кофе и поставил стакан на стол.

— И вот, когда началась война... Вы знаете, я историк, я кое в чем разбираюсь, кое-что умею предвидеть, и война с Германией, великая схватка с фашизмом не явилась для меня неожиданностью. Самое существо фашизма мне тоже достаточно известно. Наконец, гитлеровские дела сами говорили за себя... Одним словом, логикой вещей я был подготовлен ко всему...

Владимир Петрович снова взмахнул рукой, растопырив пальцы:

— Я даже записался в ополченцы... На комиссии оказалось, что сердце у меня с каким-то выдохом! И меня прогнали.

Голубые глаза профессора, с детской доверчивостью обращенные к своему слушателю, потемнели.

— Не будет родины — не будет меня, — очень тихо и глубоко закончил он.

Афанасий Анисимович в свою очередь зашевелил стриженными сивыми усами и произнес одно только слово:

— Да...а...

— И понял я это, когда провожал жену в Ашхабад, — прервал наступившее молчание Баженов, — потому, что это и о ней я так подумал... Отправил ее одну, а сам остался здесь... как делал это всегда во всех наших экскурсиях, совершенно, конечно, бессознательно, — в трудные минуты, в грозу, например, прятал за свою спину... Но из Москвы он меня не выселит!

Последнюю фразу Баженов произнес так, как если бы спорил с кем-то. Он даже вскинул голову, седая борода его распушилась. Он был похож в эту минуту на разгневанного буйвола, как известно, очень благодушного животного, но в редкие минуты чрезвычайно свирепого.

— Именно тогда я это твердо почувствовал, — закончил свой монолог Владимир Петрович, — не подумал, а по-

чувствовал и даже не пытался себе объяснить, почему...

Он машинально пододвинул свой пустой стакан и смотрел, как в него наливает кофе все еще пошевеливающий усами Афанасий Анисимович.

Они пили кофе молча, но именно в эти минуты всего лучше поняли друг друга. И когда и у того, и у другого стаканы были опорожнены, слово взяла Афанасий Анисимович:

— Из Москвы он нас не выселит ни-почем! Это безусловно. Потому что выселить нас из Москвы можно только на тот свет, а жизнь свою, как мы ни стары, все-таки защищать будем! И к тому же, Владимир Петрович, я так рассчитал: мне шестьдесят пять лет отроду, смерть я в глаза много раз видел и все равно скоро увидеть придется в окончательный раз... так какой мне толк спину ей показывать? А еще, Владимир Петрович, я вам скажу: для каждого человека есть свой предел отступить и в свой час на своем поставить. И тут нам с вами — наш предел и наш час.

— Да, да! Именно так! — закричал торжествующе Баженов, отодвигаясь от Афанасия Анисимовича и снова разглядывая его любовно и удивленно: — Замечательно вам удалось это выразить! Совершенно точно и глубоко правильно!

С той ночи Владимир Петрович и Афанасий Анисимович стали жить вместе и так дружно, будто бы знали друг друга сызмала. Они больше уже не возвращались к тому разговору, который открыл им самих себя и их близость. Они попросту занялись каждый своим делом, и дело их спорилось куда лучше именно оттого, что они жили вместе. И не только это — просто оказалось выгодным вести одно хозяйство двум старикам, до войны привыкшим жить совершенно по-разному. Как-то получилось так, что различие и в привычках, и в бюджете профессора и университетского сторожа в военное время почти совсем сгладились: оба они получали рабочие карточки, оба были прикреплены к одной и той же булочной и ели одинаковый хлеб...

Сердце не обмануло Владимира Петровича. Все, кроме рюкзака с двумя

сменами белья и рукописями, оказалось лишним. Ничего, кроме стола и дивана в комнате университетского сторожа, не требовалось профессору, чтобы продолжать работу и жить.

III.

Вышло так, что статья о происхождении славян разрослась в обширный труд о славянах, истории их культуры, их связях и отталкиваниях, их значении в общем хоре европейских народов. И само собою, исподволь, отдаваясь течению своих мыслей, углубляясь в изучение источников, Владимир Петрович нашел свое оружие в общей борьбе, и с каждым днем это оружие делалось острее и разило более метко.

Баженов ушел в работу целиком, всеми своими помыслами, но залегшая в глазах его печаль не стиралась. Он тосковал по жене. Он писал ей письма и, долго не получая ответа, томился. И хотя жена его была далеко на Востоке, Владимир Петрович каждый раз, читая о немецких зверствах в оккупированных областях, переживал их как личное оскорбление, как тревогу за жену.

В такие минуты, скомкав газету, он надевал шубу и выбегал на улицу, на мороз, большими шагами отмеривал тротуары, заваленные снегом, взыскательным, строгим взглядом оглядывал противотанковые заграждения на Садовом кольце или железные надолбы в прилегающих к Садовой переулках, заиндевшие аэростаты, заснувшие в глубине бульваров...

По улицам разъезжала конная милиция, на перекрестках стояли постовые, у подъездов, переминаясь с ноги на ногу, поеживаясь от холода, разгуливали дежурные жильцы. Москва, скованная морозом, по-необычному молчаливая, стояла незыблемо.

И Владимир Петрович, впитывая в себя эту незыблемость, возвращался домой, в подвал к Афанасию Анисимовичу, с запасом сил и нетерпеливым желанием поскорее засесть за работу. «Да, все правильно, — казалось, говорил он себе, придвигая чернильницу и берясь за добрую старую ручку, стертую до

блеска его сильными пальцами, — и то, что я остался в Москве, и то, что я живу с Анисимовичем, и то, что именно сейчас пишу о славянах...»

А однажды, поздним вечером, Владимир Петрович, оторвавшись от рукописи, услышал задыхающийся от радостного возбуждения крик Афанасия Анисимовича:

— Скорее... Владимир Петрович! Слушайте... сейчас экстренное сообщение Информбюро!

Баженов выключал радио во время работы. Афанасий Анисимович торопливо включил его. Старики подошли к репродуктору.

Владимир Петрович слушал, прикрыв глаза, ухватившись рукою за бороду, не шевелясь. Афанасий Анисимович, напротив того, непрестанно переминался с ноги на ногу, шевелил усами, подергивал плечами, лукаво и радостно поглядывал на Баженова, нетерпеливо ожидая, что он на все это скажет. Губы его шепотком повторяли названия городов.

— Слышите? Слышите? — наконец, не в силах сдержаться, вскрикнул он.

«— Возвращено 400 населенных пунктов, в том числе города: Истра, Михайлов, Епифань, Солнечногорск, Сталиногорск, Клин...»

Радио замолкло. Владимир Петрович поднял глаза. Взгляды стариков встретились. И внезапно, весь полный слов, восклицаний, трепета, Афанасий Анисимович затих. Голубые глаза профессора излучали такое тихое, ровное сияние, какого еще никогда не видел у него его сожитель.

Владимир Петрович сильным движением протянул руку и наклонился. Оба, не ожидая того, поцеловались.

И только поздно ночью, в потемках, лежа на диване, прикрытый шубой, Баженов сказал:

— Большое счастье всегда приходит к болью... — и помолчал: — Вы спите, Афанасий Анисимович?

— Нет, — тотчас же ответил тот.

— Помнится, лет десять тому назад тяжело заболела Надежда Васильевна. Я очень испугался сперва за нее... потом как-то приунылся к ее болезни

в повседневных хлопотах. И вот однажды ночью в полудреме я услышал ее голос. Я вскочил, она звала меня, голос ее был... Я не знаю, как это выразить... точно умытый свежей водой... это после нескольких дней забытья, хрипа и ужасающей температуры... Она смотрела на меня светло и ясно... Я понял всем существом, что кризис миновал, что смерть отошла, и вот тут... у меня так сжалось сердце, такой суеверный ужас охватил меня, что я едва устоял на ногах... и, только сев у ее изголовья, почувствовал всю полноту счастья...

Владимир Петрович смолк. Долго плотная тьма вокруг оставалась безмолвной и нерушимой. Но вот скрипнула кровать и вспыхнул огонек. В его зыбком свете Баженов увидел лицо Афанасия Анисимовича. Тот озабоченно огляделся, держа над головою зажженную спичку, нашел глазами на стуле восковую свечечку и зажег ее.

— Электричество опять не действует, — сказал он и, накинув на плечи овчинный полушубок, зашаркал в глубинную комнату.

— Вы что это? — спросил недоуменно профессор.

— Тут я приберег... — из затемненного угла прозвучал ответ. — А сегодня выдали нам по карточкам рыбным кетовую икру...

Он уже возвращался обратно, плотно прижимая к груди стеклянную банку и прихватив одной рукой тарелку с хлебом и двумя стаканами, а другой бутылку вина.

— Портвейн белый, высший сорт, Армения, — объяснил он деловито и сел на край дивана у ног Владимира Петровича. — Подкрепиться не мешает, как вы находите? Я что-то очень проголодался...

Баженов готовно поднялся на локоть, пододвинул стул, принял из рук старика вино и хлеб.

— Представьте себе, я тоже голоден, только никак понять не мог, чего мне хочется...

— Ну, выпьем, — сказал Афанасий Анисимович и поднял на уровень глаз полный медовой влаги стакан.

— Выпьем, — ответил Баженов.

И они чокнулись.

IV.

Надежда Васильевна писала мужу, что у них в Ашхабаде уже весна, цветут абрикосы, на базаре продают редиску и розы-примеры, в полях идет посевная, что в институте развернулась интересная работа по изучению солончаковых подпочв.

«Дело в том, — писала она, — что, как ни парадоксально, бесплодная сама по себе почва может служить, при известной обработке, прекрасным туфом для истощенных земель, повышающим их урожайность... Ты представляешь, какую бодрость вселяют в меня эти исследования, и не только потому, что я люблю поднимать целину, а потому, что сейчас особенно животворно сознание всепобеждающей жизни...»

Читая эти письма, Владимир Петрович живо представлял себе жену такой, какой она и поднесь осталась для него: с белозубой улыбкой на круглом, румяном лице, с тяжелым узлом волос цвета спелого каштана, цветущей женщиной, полной здоровья, энергии и неисчерпаемой любознательности.

Но он не верил тому, что она с ним сейчас до конца искренна. Не в своих делах, чувствах, переживаниях и мыслях, а в том, что вокруг нее весна и что торжество этой весны точно заслонило от нее отсветы пожарищ. «Это она меня подбодрить хочет, чудачка», — думал он. — «Какая там, к черту, весна, розы-примеры!»

Когда в один солнечный, уже по-настоящему весенний день Афанасий Анисимович объявил ему, что во всех профсоюзных организациях и учреждениях пошел разговор об огородах и о том, что и Владимиру Петровичу следует подумать о получении участка, семян, а главное картошки, Баженов сначала не понял, что от него хотят, потом посмеялся над вздорностью затеи и, наконец, по-настоящему разозлился.

— Ну, что вы, Афанасий Анисимович, в самом деле! Ведь это же анекдот! И преглупейший к тому же! И да-

же оскорбительный! Какая-то картошка! Я не умею копать землю. Я не мешечник, не скопидом! Мне не нужны, мне противны запасы! Мне хватает того, что дают по карточке.

— И очень прекрасно, — терпеливо и ласково усовещивал его Афанасий Анисимович, — и даже не удивительно ничуть, что вы не мешечник и там еще как! Но ведь картошка нужна! Всем нужна.

Афанасий Анисимович не обижался на резкость. Владимир Петрович отходил быстро. И не успевал багрянец сойти с его щек и лба, как он говорил примиренно:

— Вы правы тысячу раз, и все это вполне разумно... но мне не по душе... ничего не поделаешь. Вы уж как-нибудь без меня обойдитесь — урон невелик... И знаете что: есть у меня по Казанской на 42-ом километре дача и участок земли, так вот и вайлите... в полном вашем распоряжении...

— Ну, что же, спасибо, — добродушно соглашался Афанасий Анисимович, — надо будет съездить, взглянуть...

И спустя недолго он объявил:

— Отменный участок, солнечный! Можно вполне обработать лопатой. В воскресенье поедем.

— Но я вам сказал...

— А кто же вас неволит? Помилуйте! Но разве можно копать, не оформив? Вы хозяин участка, вам следует в поселковом совете заявить обо мне...

— Я не поеду. Доверенность получите в письменной форме.

— Напрасно... погода чудесная, одно удовольствие!

— У меня спешная работа.

Работы у Владимира Петровича, и точно, к весне стало значительно больше. Наладились занятия со студенческой группой, возобновилась подборка и подготовка к печати материала по Истории культуры, доклады в красноармейских частях, так замечательно излагающие борьбу русского народа с врагами, посягавшими на нашу родную землю.

И это обилие интересной, поглощающей его целиком работы тем более

радовало Владимира Петровича, чем меньше оставалось свободного времени для сторонних размышлений. Он уходил от всего, что могло ему напомнить мирные дни, что выбивало его из того «казарменного положения», в какое он сам себя поставил, и никогда не признался бы, что попросту боится снять свой походный рюкзак.

Но Афанасий Анисимович с непонятным для Баженова упорством стоял на своем.

— Вам обязательно надо поехать, — повторял он все чаще, и мягкая улыбка шевелила его усы. — Там же воздух какой — сосновый!

Владимир Петрович уже перестал возражать.

— Скажите мне честно, — наконец, спросил он его, — почему вам нужно тащить меня с собою? Ну, какой я помощник?

Афанасий Анисимович ответил не сразу. Надев очки, он возился с иглой и ниткой, лицо было сосредоточено и серьезно.

— А вот почему, — внезапно раздался его несколько напряженный голос, — потому, что это вам не высокогорная экспедиция какая-нибудь, а жизнь... И надо, как полагается, все делать для жизни.

Голос смолк так же неожиданно, как и раздался. Владимир Петрович оглянулся и увидел: сидит Афанасий Анисимович за столом, поднял к свету лампы руки, старательно пытается вдеть нитку в иглку и никак не может.

Тогда Баженов решительным шагом подошел к старику, взял из его рук иглку и нитку и, вдев нитку в игольное ушко, подал ее ему.

— Я, собственно, не совсем ясно понял вашу мысль, — молвил он, — но вы меня переупрямили, — так и быть — едем.

И они поехали.

Когда, вооруженные лопатами, оба старика вынырнули из метро у прохода на Казанский вокзал и, подталкиваемые толпой, протиснулись мимо контроля в застекленный зал ожидания,

Владимир Петрович едва не повернул обратно.

— Это что же такое? — крикнул он, остановясь у загородки. — Как вы проверяете документы, гражданин милиционер? Вам предъявляют паспорт и справку! Специальную справку на право проезда, а вы ее даже не развернули!

— Да проходите, гражданин, не задерживайте! — закричали сзади возмущенные голоса.

Но Баженов потрясал бумажкой перед озадаченным контролером, прекрасный в своем наивном гневе, с развешенной копной серебряных волос над покрасневшим лбом.

— А если я жулик? Мешечник? Спекулянт? А если я еще того хуже — немецкий шпион? Надо читать документы! Читать! Мы на войне, батенька мой!

Уже за спиною Баженова ругались и толкали в спину локтями, и смущенный Афанасий Анисимович пытался оттащить его в сторону, а Владимир Петрович все не унимался:

— Я не уйду отсюда, пока не прочтете!

И тогда случилось нежданное никем и всех развеселившее: контролер широко улыбнулся и, взяв подковырек, молвил с учтивой готовностью:

— Мне вашу справку читать незначем, товарищ профессор Баженов! А у кого надо, мы читаем, уж будьте уверены!

И так сказаны были три этих последних слова, и так многозначительно весело глянули молодые глаза в голубые глаза Владимира Петровича, что тот не мог удержаться и, просияв, схватил подтянутую к козырьку руку милиционера и крепко пожал ее.

V.

Вагон был переполнен. Электричка уносила их все дальше от города, в простор весенних полей. Ветер всрвался в приспущенные окна. Воздух казался прозрачно-зеленым, как счастливый камень александрит. Из этого камня Владимир Петрович когда-то в первый год женитьбы подарил жене

ожерелье. И, вспомнив об этом, Баженов взгрустнул.

Очарование ранней весны всегда кажется грустным городскому человеку, впервые попавшему на вольную волю. Свежее дыхание земли и молодых трав пьянит и клонит ко сну, тело наливается сладкой и безвольной истомой. Призакрыв веки, опираясь всем грузом своих шестидесяти лет на рукоятку лопаты, Владимир Петрович следил за мимобегущими строениями пригорода, за уносящимися назад сизыми грядками огородов, ржавыми кулками железного лома, сквозь который уже пробивалась трава.

Три года назад они жили на даче с женой все лето. Почему им пришлось в голову построить эту дачу? Им — завзятым бродягам, каждую весну уезжавшим на далекие окраины?.. Тогда все спешили обзавестись дачами, квартирой — казалось, надолго и прочно живались в счастливую, тароватую жизнь... И как гром с ясного неба — война... И вот — брошены, обезлюдели или разбиты еще необжитые квартиры и дома, кинуты на произвол судьбы дачи... И в дачном поезде едут в воскресный день не веселые дачники, а горожане, чтобы потрудиться над клочком земли...

Давно уже отстучала убегающая от них электричка. Они медленно шли по широкой лесной просеке. Рыжая хвоя, влажная от росы, приятно пружинила под затекшими ступнями, скипидарный дух щекотал ноздри, какие-то птахи чувикали и суетились в сосновых ветвях.

Они шли мимо заколоченных дач.

— Вот она — моя собственность, — сказал Баженов.

Он остановился у калитки, но не распахнул ее. Он ухватился обеими руками за зубчатые колышки забора и глядел на выкрашенный охрой фасад своей дачи с печальным безразличием. Окна были забиты фанерой, над столом на балконе висел унылый электрический шнур без патрона. К шнуру была привязана и болталась под дуновением ветра какая-то ярко раскрашенная игрушка.

— Видите? Попка! — произнес Владимир Петрович и усмехнулся: — Все, что осталось от бывшего уюта и мира...

Резким движением он дернул калитку с крючка, тяжелым шагом поднялся на балкон, сорвал со шнура попугая, кинул его далеко прочь от себя и только тогда успокоенно опустился на отсыревшее плетеное кресло.

VI.

Потом они копали грядки. Впереди шел Афанасий Анисимович, за ним едва поспевал профессор. И казалось странным, что маленький, щуплый, косякобий человек куда проворнее и сильнее упирающегося ногами в землю старика.

Со лба Владимира Петровича катился пот, серебряные пряди волос потемнели от влаги на широком лбу, голубые глаза точно выщвели и ослепли, руки механическим движением то подымали лопату, то опускали ее, земля не давалась, скрипело тугое сплетенье корней, бурый дерн с нежным зеленым пухом молодой травы, как упругая кожа, упрямо сползал с лопаты. Тяжело дыша, Владимир Петрович молчал, отдавался бездумью. Зато Афанасий Анисимович становился все веселее и говорливее.

— Земля не дается сразу, — объяснял он, — с ней повозись... Чем глубже лопатой, тем легче ее брать... так-то вот...

И, приговаривая, он вкусно, как нож в головку сыра, погружал лезвие лопаты в сырой ком земли и одним уверенным движением выбрасывал лоснящийся, дышащий кусок.

— Без злости нельзя, — внезапно продолжая начатое давеча Владимиром Петровичем, говорил он. — Это вы правильно... жить хочет всякое, а жизни достойно — по строгому выбору. Я всегда уважал огородников или там садоводов, вроде Мичурина. Вы только гляньте — год не прошел, как не был здесь человек, а так заросло! Чем подлее трава, тем скорее растет. В ином месте, говорят, от нее только огнем и спасешься.

Он подкинул на лопате, как блин на сковородке, кусок дерну, отряхая с него землю, внимательно разглядывая сплетенье тонких, как нити, корней.

— Ведь как хитро заплели! Попробуй тут, приживись какое-либо доброе семя! Чорта с два!

И, откинув дерн, впервые разогнул спину и глянул в упор на Баженова:

— Я вот так и смотрю, Владимир Петрович: если мы взаправду хотим доброму семени жизни, так нам только одно и остается — жечь! Огнем выжигать до последнего!

Нежданная сила, с какой были сказаны эти слова, внезапность гнева, вспыхнувшего в добрейших маленьких глазках Афанасия Анисимовича, поразили Баженова. Он слушал до этого бойкую речь друга краем уха, радуясь усталости, прогнавшей печальные мысли и воспоминанья.

— А вы думаете, лопатой нельзя? — спросил он недоуменно.

Афанасий Анисимович поймал его растерянный взгляд и рассмеялся.

— Да нет, Владимир Петрович, управимся.

И снова взялся за лопату.

Так проработали они до полудня. В полдень Афанасий Анисимович поставил на плиту чайник и достал из рюкзака хлеб, пайковую селедку и головку чеснока, сбереженную им с прошлой осени.

Владимир Петрович пил, обжигаясь, из кружки чай, ел черный хлеб с селедкой, потом лег на балконе, спиной на жесткой садовой скамейке, смотрел вверх на небо, слушал густое пенье аэропланов, все тело его ныло, на ладонях вскочили пузыри, но, пожалуй, это было даже приятно, напоминало выссокогорную экскурсию, бездумье далеких стоянок. Он так и не вошел в дачу, не заглянул в свою комнату, не любопытствовал, все ли осталось на месте.

Он проснулся, разбитый физически, но легкий духом, помолодевший. Он жмурился на солнце и улыбался.

— Теперь мне совсем не поднять лопаты...

Но не только поднял ее, но и начал копать и копал уже не машинально, как раньше, а с любопытством, с задором, потом разозлился, стиснул зубы и почти что догнал в проворстве Афанасия Анисимовича. На этот раз молчали оба, мысленно отмеривая расстояние до того места, когда можно будет распрямить спину и передохнуть. Отдыхали коротко, строго, выравнивая дыхание, занятые только одним — до вечера кончить, с тем, чтобы завтра по росе можно было бы сажать.

С заходом солнца поднялся туман, тучей налетели комары, пришлось уйти в комнаты, не зажигая огня, в темноте ощупью найти кровать и завалиться спать. Спать хотелось смертельно, но сон не пришел.

— Афанасий Анисимович, что вы этим хотели сказать: «Только одно остается — жечь»?

Но Афанасий Анисимович уже легонько пошвыстывал.

И тотчас забили зенитки. Раз за разом шесть раз, потом тишина и снова — шесть ударов, и еще, и еще... Разрывы, казалось, смыкались над домами, деревянные стены дрожали, звякала где-то в шкапу забытая посуда. Владимир Петрович нашарил под кроватью ботинки и, надев их, вышел в сад.

Он не узнал его. Сад показался сказочным, кусты, деревья и только-что вскопанные гряды плыли в лунном тумане, уплывали в зыбкую даль. Над ними в небе метались полосы света, то падая глубоко в лесную чащу, то уходя ввысь, скрещиваясь, ловя кого-то. Ритмичный, короткий звук в октаву все приближался, навстречу ему, как искры потешных огней, взвивались трассирующие пули, и в полосах света белые клубки возникали и гасли, возникали и гасли...

Владимир Петрович неотрывно глядел в небо. Он смотрел жадно, как смотрят дети на пожар, еще не отдавая себе отчета в серьезности происходящего. Но внезапно, молодым движением он подался вперед: там, где скрестились лучи прожектора, сверкнул и забился комарик.

— Есть! — воскликнул Баженов. — Попался!

Горячая радость прихлынула к сердцу. Вот он — не з в а н ы й, вот! Только бы не упустили!

Если бы кто-нибудь со стороны глянул сейчас на Владимира Петровича, ему показалось бы, что этот большой человек с серебряной гривой танцует. Он припрыгивал, склоняясь то в одну, то в другую сторону, вслед за движением лучей в небе, точно связанный с ними крепкими нитями.

— Вот, вот! — повторял он, взмахивая руками, полный гнева и торжества.

Лучи неуклонно уводили комарика влево, туда, где всего чаще взметывались цветные искры и гудели разрывы. Порою казалось, что вот — увернулся, пропал... Тогда Владимир Петрович испуганно ахал, перебегая на другое место, потом ликовал снова:

— Нет, не упустили!

Комарик рванулся вверх, накренился, вспыхнул и низринулся в тьму, оставляя огненный хвост...

— Готово! Афанасий Анисимович, готово! — заорал Баженов не своим голосом и, не помня себя, как, бывало, мальчишкой за змием, бросился в гущину леса. Добежать, найти, своими глазами увидеть его — повергнутым, видеть его — мертвым. Брага.

Владимиру Петровичу казалось, что он бежит сказочно-быстро, но бежал он все медленней, тяжело ступая разбитыми усталостью пятками по сырому валежнику и, наконец, споткнувшись, чуть не упал.

Над ним сомкнулись мохнатые, густо пахнущие смолой ветви, сверху в небе гудели моторы, земля дрожала от их веселого гуда или, может быть, дрожали колени старого, усталого человека?.. Он оперся о шершавый липнувший ствол сосны обеими ладонями, тяжело переводя дух, сконфуженный, но счастливый.

— Какое мальчишество!.. Воображаю, как посмеется Афанасий Анисимович!

Но Афанасий Анисимович спал мирным сном. Пушки не разбудили его! Владимиру Петровичу даже стало до-

садно — уж пусть бы посмеялся, а то спать в такую минуту! Он собрался разбудить его, протянул руку, чтобы нащупать спящего, но наткнулся на собственную кровать, привалился к ней и тотчас же заснул мертвым сном...

— Вставайте!

Владимир Петрович разом сел.

Над ним с полотенцем в руках, с мокрыми височками, с рюмяным от холодной воды лицом стоял Афанасий Анисимович. В окне была отодрана фанера, створки распахнуты во-всю ширь, и росистая зорька глядела в комнаты.

Все было так, как бывало раньше при пробуждении. Тот же письменный стол напротив, с полкой над ним, со стопкою запыленных книг. Та же тахта, обитая цветастым репсом, и кресло с такой же цветастой подушкой, прижатой тяжестью тела...

Ничто не ушло! Это не было мыслью, это было как электрический ток, пронизавший радостным трепетом с головы до пят. Все живо и будет жить!

Баженов вскочил на ноги. И тотчас же в прозрачном утреннем небе пронеслось ночное видение — скрещенные стальные клинки прожекторов и стремительное падение пылающего самолета.

— Эх, вы! Такое проспаты! — воскликнул Владимир Петрович. — Ночью наши зенитки подбили немецкий аэроплан!

Афанасий Анисимович требовал подробностей. Но какие тут, к черту, подробности! И дело не в них. А в чем же?

Владимир Петрович тер с наслаждением мокрыми ладонями разгоряченное сном, загрубевшее за день работы лицо, торопливо искал нужные слова, но не мог их найти и тотчас решил, что не стоит искать. Если разобраться трезво, случилось то, что случается нынче по несколько раз на день. И вся эта ночная беготня и волнение выглядят никак не значительно, а глуповато. И лучше оставить это про себя, потому что мы знаем, что знаем.

— Да-с! — многозначительно сказал Владимир Петрович, насухо вытирая лицо и руки. — Я вам доложу!

Он стоял, расставя ноги, на балконе, с засученными рукавами рубашки, с открытой грудью, пошевеливая ноздрями, жадно впитывая запахи земли, травы, сосен, пробуждающейся жизни. Но почему же, почему это утро вернуло прошлое живым и снова в руках нить, еще вчера казавшаяся оборванной?..

— Они его ловко поймали! — добавил после значительной паузы Баженов. — Он, как над лампой комар, — заметался и — хлоп! Однако, где же ваша картошка? Давайте, приступим...

Влажная разрыхленная земля приятно холодила руки, затылок поменьше начинало припекать все выше встающее солнце, хлопотливо возились муравьи, тонкие нити теней от веток кустов смородины заплетались в затейливый узор. Сморщенные дольки посиневшего картофеля покорно ложились в бороздку.

— Неужели из них что-нибудь получится? — с недоумением бормотал Владимир Петрович.

«...Я напишу Наде, как мы ее сажали... воображаю, будет смеяться»...

Он пошевелил пальцами с налипшей на них землей.

— Это чувство похоже на гнев, на

радостный гнев... как гроза, очищающая воздух...

Голубые его глаза и серебро волос отражали блеск солнца. Афанасий Анисимович отвел внимательный взгляд от борозды и залюбовался им.

— А вы еще ехать не хотели, — сказал он, — я говорил вам — благодарить будете!

И, поднявшись на ноги, удовлетворенно закончил:

— Ну, теперь с богом! Пусть дышит... А мы как-раз поспеем к семичасовому.

Лопаты они заперли в комнате, рюкзаки их были пусты и не давили на плечи, над грядками курился чуть видный легкий дымок, казалось, и точно, картофель под жарким гнетом земли дышит...

Владимир Петрович, захлопнув за собою калитку, оглянулся. Дача казалась обжитой и приятной, будила какие-то неясные заботы о будущем.

— Вы идите, я сейчас догоню, — неожиданно крикнул Баженов.

Он что-то увидел в траве за оградой, снова открыл калитку, сделал несколько торопливых шагов и нагнулся.

У ног его лежал попугай. Смущенным движением Владимир Петрович поднял его и спрятал в карман.

Афанасий Анисимович издала приветил это движение и улыбнулся.

Июль, 1942 год

Клятва

СЕРГЕЙ АЛЫМОВ

*

С кем, Севастополь,
Тебя сравнить?!
С героями Греции?
Древнего Рима?
Слава твоя —
Что в гранит не вгранить —
Ни с чем в истории
Несравнима.
Римлянин Муций,
Одетый в шелк,
Прославлен за то,
Что сжег свою руку.
В Севастополе каждая рота и полк
Вынесли тысячекратную муку.
Севастополь в осаде —
Такой костер,
Пред которым
Ад — прохладное место.
Севастополец
Руку в костер простер,
Руку, огнеупорной асбеста.
Севастопольцы
Сомкнули ряды,
Стальными щитами
Выгнули груди.
— Дайте снарядов!
— Не надо еды! —
Слышалось
У раскаленных орудий.
Воздух от залпов —
Душная печь.
Волосы вспыхивали
У комендоров.

— До одного мы готовы лечь!
Не отдадим
Черноморских просторов!
Тысяча немцев на сотню идет.
Сотня героев с тысячей бьется.
Севастополец
В бою не сдает:
Он умирает,
Но не сдается.
Хлещет по немцам
Гранат наших град.
— Вперед! За Сталина!
Родина с нами! —
Тельняшка в крови,
Пробитый бушлат —
Севастопольских битв
Бессмертное знамя.
Стоит Севастополь,
Хоть города нет,
Хоть город весь в пепле,
Разбит и разрушен.
Стоит Севастополь!
Гремит на весь свет
Великая слава
Громче всех пушек.
Немецкие звери
Залезли в наш дом —
Не засидеться
Шакалам немецким.
Клятву даем:
«Севастополь вернем,
Севастополь был
И будет советским!»

Севастопольцы

А. ХАМАДАН

★

1. ДОЧЬ РУССКОГО НАРОДА

Газик торпедой летит в долину, забирает в сторону, срываясь с шоссе на земляную тропку. Она ведет нас все дальше от Сапун-горы, через невысокие холмики в лощинки и овражки.

Стоп!

Путь преграждает боец. Отсюда мы идем пешком. Сперва в рост, чуть пригнув головы, затем согнувшись вдвое, касаясь коленями земли. Неподалеку в канавке лежит человек. Осторожно высунув голову, он рассматривает в бинокль передний край немецкой обороны. К канавке ползем на животе. Ложимся, терпеливо ждем. Наконец, лейтенант прячет бинокль, переваливается с живота на бок и смотрит на нас знакомыми веселыми и лукавыми глазами. Это Петр Васильевич Смирнов.

Между разговором я спросил Смирнова, в какой части находится Нина Онилова.

— Здравьте вам! — ответил Смирнов. — Она же моя соседка. Не больше километра отсюда. Только придется вам вернуться обратно на шоссе и другой дорогой ехать к ней.

Нина Онилова, комсомолка-пулеметчица, еще в Одессе прославилась мужеством и отвагой. Двадцатилетняя девушка-доброволец, она проявила недюжинные способности и выдержку воина. На подступах к Севастополю слава ее упрочилась, вокруг имени ее начали складываться легенды. Сама же она попрежне-

му оставалась скромной и хрупкой девушкой, с круглым лицом, ясными смеющимися глазами и любимой своей поговоркой: «А я знаю?»

Это была маленькая одесская комсомолка, истребившая огнем своего пулемета более пятисот немцев и румын. Фронтová отличница! О ней следует рассказать подробно.

Август в Одессе, жаркий, знойный. Дома и улицы плывут в душном мареве. Худенькая, невысокая девушка в легком платьице, раскрасневшаяся, взволнованная, переступила порог райвоенкомата.

— Вот, и еще одна пришла, — ворчливо сказал военком. — Девушки хорошие, войдите в мое положение. Мне не нужны медсестры. Бойцы, пулеметчики, командиры, артиллеристы, саперы — вот кто нужен...

Девушки стояли перед военкомом молчаливые, с влажными от обиды глазами. Военкому было их жалко. Он отстегнул крючки гимнастерки, вытер мокрую шею платком, вздохнул. Но война есть война: нельзя, чтобы в армии медсестер было больше, чем бойцов и командиров. Он взглянул на худенькую девушку, переступившую порог. Узнал ее. Фанговщица с трикотажной фабрики. Военорг комсомола. Тихая, но упорная, как черт. Будет целый день стоять у окна и молчать. Военком опять вздохнул.

— Вот если бы кто-нибудь из вас был пулеметчиком...

В это время фанговщица Нина Они-

лова подошла к нему вплотную и дрожащим голосом сказала:

— Так я же пулеметчица, всю программу прошла, вот значки, справка...

Опешивший военком махнул рукой и, обращаясь к остальным девушкам, строго сказал:

— Ну, а вы, товарищи, возвращайтесь на производство. Это тоже фронтное дело.

Так Нина Онилова добилась своего. Страстная мечта ее стала явью. Перед нею возник образ чапаевской Анки-пулеметчицы, бесстрашной русской женщины.

Нина замерла на тротуаре. Она хотела пролечь это видение, это вступление в боевую жизнь. И опять, как тогда, в кино, пронеслось широкое раздольное поле высокой ржи, черные ряды офицеров-капеллецев. Психическая атака. Возникло лицо Анки, ее пылающие глаза и стиснутые губы. Спотыкающиеся, падающие ряды капеллецев. Это Анка в упор косит их длинными пулеметными очередями...

Нина Онилова побежала. Теплый ветерок обдувал ее возбужденное лицо, глухим звоном отдавались в ушах быстрые удары горячего сердца.

Онилова ушла на фронт в тот же день. Забежала на фабрику, торопливо простилась с друзьями. У Нины не было родной семьи — круглая сирота. Но друзей было много. Провожали сердечно, ласково:

— Ты, Нина, не подкачай там. Тебя одну только взяли, — говорили комсомолки.

— Будь бесстрашной, дочка, — сказала старая работница, поцеловала Нину в губы и по-стариковски перекрестила ее.

Быстро промелькнули первые фронтные дни. Люди быстро привыкают к грохоту и лязгу стали, к каскадам огня, дыма и земли. Привыкла и Нина Онилова. Сноровистая, меткая, аккуратная, смелая, она пришла по душе бойцам и командирам. Ее сразу прозвали «нашей Анкой».

Весть о том, что в таком-то батальоне сражается «Анка-пулеметчица», вскоре облетела всю армию. Урывая время, в батальон забегали командиры и бойцы

посмотреть на нее. Бродили по лесным посадкам, окаймляющим Одессу, и искали девушку-пулеметчицу. Спрашивали и Нину:

— Где у вас здесь «Анка-чапаевская»?

И действительно, узнать Нину Онилову было трудно. Юноша в гимнастерке, шароварах и сапогах, с коротко, по-мальчишески, остриженными волосами, не был похож на комсомолку Нину. Только голос, мягкий и мелодичный, выдавал ее, да неизменная улыбка, обнажившая маленькие белые зубы.

Была ночь. Косые струи дождя хлестали землю. Она сделалась липкой, вязкой. Нина набросила плащ-палатку на себя и на своего «Максимчика». Она припала к нему, устремив взгляд в непроглядную южную ночь.

Далеко позади родная Одесса. Враг рвется к ней. Варварски бомбят ее немецкие, румынские и итальянские летчики. Подло, по-бандитски, швыряет снаряд за снарядом на улицы города фашистская артиллерия. Нина слышит гулкие разрывы снарядов. Оглядываясь на Одессу, она видит всплески пламени, длинные языки огня, тянущиеся к небу.

Тяжело становится на душе в такую черную ночь. Нина стискивает зубы, ее маленькие ладони крепче сжимают рукоятки пулемета.

И вдруг тишину на кусочке земли, где лежит Онилова со своим пулеметом, взрывают удары тяжелых вражеских минометов. «Значит, скоро пойдут в атаку», — думает Онилова. И чувствует, как тяжелеет кровь и как удары сердца делаются глухими.

Так приходит ярость. Нет больше Нины Ониловой, фанговщицы с одесской трикотажной фабрики «Друзья детей». Здесь, припав к пулемету, лежит гневная патриотка — боец Красной Армии, готовая к смертельному бою с ненавистным заклятым врагом.

Огонь минометов перекатывается дальше, в глубь расположения наших войск.

— Сейчас пойдут, — чуть слышно шепчет Нина.

Впереди застрекотали автоматы, уже слышны крики атакующих.

— Ну, давай, начинай, — нетерпеливо

кричит Ониловой один из бойцов ее пулеметного расчета.

Но она не отвечает бойцу и не стреляет. Чужие голоса все ближе. Кто-то оттуда, из темноты, выкрикивает пьяным голосом грубые ругательства на ломаном русском языке. Очереди автоматов стучат громко, точно стреляют над ухом. Только когда глаз выхватил из темноты силуэты идущих в атаку врагов, внезапным и сильным огнем комсомолка Нина Онилова начала свой первый настоящий бой.

Очередь за очередью — то длинные, то короткие, то ниже, то выше. Огненные струи яростно хлещут вопящих, падающих и еще бегущих по инерции врагов. Бойцы расчета с трудом поспевают за пулеметчицей. Утихают автоматы, больше неслышно чужих голосов. Только «Максимчик» все так же гневно и яростно вышивает на черном бархате ночи узорную огненную строчку...

Утром Нина увидала свою работу: десятка четыре солдат и офицеров валялись в ложине.

— Только начало, — сказала она вслух.

Этот ночной бой был строгим экзаменом для юной пулеметчицы. Она с честью выдержала боевое испытание.

Теперь надо сказать правду. Девушку-пулеметчицу Нину Онилову ласково приняли в батальоне. Но многие до этого ночного боя не верили, что женщина может быть стойким и суровым воином. Теперь, после ночного боя, когда Нина проявила стойкость и бесстрашие закаленного бойца, подлинная боевая слава осенила юную пулеметчицу. Нина приобрела доверие бойцов и командиров.

Случилось так, что батальон, в котором сражалась Нина, включили в состав легендарной Чапаевской дивизии. Так пылкая девичья мечта претворилась в жизнь.

...Артиллерийский, минометный огонь. Гудела земля, знойный воздух был горьким от порохового дыма. Нина сказала бойцам своего расчета:

— Даже земля плачет. Ну, уж помянут нашу землю, крепко помянут!

Лежавший рядом с Ониловой боец Забродин вдруг сказал:

— А ты спой хорошую песню, веселей будет.

И Нина запела:

Письмо в Москву,

в любимую столицу,

Я другу сердца нежно написал.

Она вдруг забыла слова этой песни, но не хотела оборвать ее, чтобы не обидеть бойцов. Родились новые слова, произвольно выпеваемые самой душой:

Хранить страну, семью свою родную

Я кровью сердца милой обещал.

А мины ложились все ближе, противно лопаясь. Неподалеку был ранен лейтенант. Нина быстро перетащила его в кусты и перевязала. Лейтенант умирал. Он пожал ее руку. Потом отстегнул кобуру и передал пистолет.

— Храни, Анка, не забывай, — чуть слышно прошептал он.

Нина погладила его по голове и, склонившись, поцеловала в губы. Лейтенант приоткрыл глаза. Его угасающий взгляд долго покоился на лице Ониловой.

Ползком, с плачущими глазами вернулась она к своему пулемету. В это время справа, со стороны леса, показались фашистские головорезы.

— Анка, стегни их...

И Анка стегнула. Из глаз ее все еще бежали слезы. Опять, как в ту памятную ночь, «Максимчик» без усталости хлестал метким убийственным огнем. Поредели фашистские ряды, атака выдохлась.

Шесть раз подряд ходили немцы и румыны в атаку на пулеметное гнездо Нины Ониловой. Девушка-пулеметчица смотрела на них плачущими глазами. Она думала о Павле Семькине, которого она поцеловала и который теперь умирал неподалеку от нее, в кустах.

Фашистов было теперь заметно меньше. Выйдя на скат холма, они начали стрелять из винтовок и автоматов. Кто-то около Нины глухо вскрикнул и скатился с холма. Она не оглянулась. Сквозь слезы, застилавшие глаза, она примеривала расстояние, отделявшее ее от фашистов: 70, 60, 50, 40 метров. Нина горестно вздохнула и дала долгую очередь. Она водила дуло пулемета из стороны в сторону на одном уровне — по пояс атакующим.

Она смотрела, как тычутся немцы и румыны в землю, точно подрезанные острой косой. Оставшиеся в живых побежали, поползли обратно в ложину.

Пулеметчица облегченно вздохнула. Она услышала воющий звук мины и подняла голову. Что-то тяжелое ударило в землю. Нину засыпало. Она быстро стряхнула с себя землю, хотела подняться, но почувствовала слабость, улыbnулась.

Забродин крикнул:

— Анка, жива?

— Вполне, — сказала она.

Но кровь бежала по ее лицу: один осколок попал в голову, другой задел ухо. Ее отправили в госпиталь. Вывезли из Одессы. Любовно лечили. Вскоре она поправилась. Она искала свою дивизию, свой полк. Найти было трудно. Но характер и упорство Анки-пулеметчицы помогли ей отыскать свою часть.

...После затишья прозрачный воздух опять наполнился артиллерийским громом. С металлическим шелестом летят над головами снаряды, черными кудряшками вспыхивают над землей частые разрывы. В высоком небе наши стальные птицы широкими кругами снижаются над немецкими позициями. Вздрагивает земля, уходит из-под ног. Тяжелые бомбы кромсают вражеские траншеи и дзоты.

Встают чапаевцы и устремляются вперед, на передний край немецкой обороны. Девушка в матросской тельняшке, припав к пулемету, хлещет яростным огнем, забивая врагов в землю, не давая им поднять головы.

Девушка поддерживает огнем своего пулемета стремительную атаку чапаевцев. Когда пехотинцы продвигаются дальше, девушка быстро и решительно командует бойцам своего расчета:

— На новую огневую позицию! — И первой бежит вперед.

Атака завершилась удачей. Заняты новые сопки, важная высота. К Нине Ониловой приезжают командиры. Они тепло жмут ей руки и благодарят маленькую, веселую пулеметчицу за службу, за воинскую доблесть.

В стороне на правом фланге еще идет горячая схватка. Боевые соседи чапаев-

цев выравнивают линию, подтягиваются. Оттуда доносятся частые, дробные пулеметные очереди. Нина слушает, чуть склонив голову набок.

— Хорошо работают наши пулеметчики. Очень хорошо, — говорит она.

Вечерние сумерки покрывают землю, прячутся вершины гор и высот. Привозят горячий ужин.

Война дала Ониловой громадный боевой опыт, закалила ее. Сержант Красной Армии Нина Онилова — командир пулеметного расчета. К ней приходят молодые пулеметчики — подучиться.

Недавно «Анку-пулеметчицу» вызывали в Военный Совет — ее наградили боевым орденом «Красное Знамя». Принимая награду, доблестная защитница Севастополя кратко и убедительно сказала:

— Я не умею говорить речи, но с фашистскими собаками я умею хорошо «разговаривать» языком моего пулемета.

Прошли дни. Мы ехали вдоль Черной речки, потом пересекли ее в нескольких местах, где она, извиваясь, преграждала нам путь. Долиной пробирались к широкой каменистой горе. Вершина горы напоминала раскрытую львиную пасть, зияющую, страшную. Выбитые в горном камне ступени ведут в эту пасть. Там помещился КП чапаевцев. Нас встретил полковник Гросман — хмурый, опечаленный. Вниз, в долину, пошли вместе. Гросман долго молчал. И, только подойдя к машине, тихим, дрожащим голосом сказал:

— Вчера была смертельно ранена наша Анка — Нина Онилова.

Губы его прыгали: так мог говорить отец о своей дочери.

— Звонил сейчас в медсанбат. Ответили, что надежд нет.

Жестокий удар. Эту боль чувствуешь, как острие ножа, вонзившегося в грудь. Нина Онилова смертельно ранена! Живая, смеющаяся девушка, певунья. Смерть и Онилова! Могло ли когда-нибудь раньше притти в голову такое сооставление? Всегда все знаменитые «сто случаев смерти» щадили ее. И вот теперь один из этих ста случаев подстерег, сразил отважную Нину. Нет надежд...

Шофера Аркадия не надо было торопить. Услышав о смертельном ранении Ониловой, он вел машину на максимальной скорости, на пределе. Стремительно неся мимо прыгающих в стороны регулировщиков, отчаянно проскальзывал между грузовиками. Через несколько минут автомобиль свернул с шоссе и покатил вниз, в Инкерманские штольни. У входа в гигантскую горную пещеру стояла группа военных врачей, профессора. Начсандив Борис Варшавский грустно повел плечами. Мы поняли его без слов. Он проводил нас.

Она лежала в каменной пещере с высоким потолком. Электрическая лампа, окутанная марлей, излучала мягкий свет. В ногах сидела медсестра.

Глаза Нины Ониловой были закрыты. Лицо бело, как простыня. Она не двигалась, не стонала. Казалось, что она уже умерла. Но она была жива. Жизнь еще теплилась в ней, еще боролась со смертью.

— Иногда она открывает глаза, — прошептал Варшавский. — Скажет два три слова и опять впадает в забытие. Делаем все, что может сделать медицина. Но слишком много ран, много крови она потеряла. Только чудо спасет ее. Но...

Он так беспомощно произнес это «но»!

Нина Онилова угасала молча. Она открыла глаза, посмотрела на нас и не узнала. Перевела взгляд на свет лампочки и долго смотрела не мигая. Варшавский рывком снял с лампочки марлю. Яркий свет брызнул в глаза ей. Но она не отвела взгляда. Казалось, она еще пристальнее стала всматриваться в этот свет, точно стараясь запомнить его яркость. Варшавский прикрыл лампочку марлей. Онилова опустила веки. Варшавский наклонился к ее уху и спросил:

— Вы хотите сказать что-нибудь?

Онилова снова посмотрела на лампочку.

— Вам мешает свет?

Она опустила веки и голова ее чуть заметно качнулась в сторону. Мы поняли, что нет — не мешает.

— Вам нужно что-нибудь?

Она все еще смотрела на лампу.

И только теперь мы заметили на столике возле лампы сверток. Варшавский взял его в руки. Онилова улыбнулась и прошептала что-то неслышное. Мы развернули сверток. В нем лежала книжка Л. Толстого «Севастопольские рассказы», ученическая тетрадь, пачка писем, адресованных Нине Ониловой из различных городов, вырезки из фронтовых газет, в которых описывались ее подвиги.

Мы развернули тетрадь. Первые страницы ее были исписаны рукой Ониловой. Торопливые, неразборчивые строчки. Полностью записан текст боевой песни приморцев: «Раскинулось море широко у крымских родных берегов». На другой страничке было недописанное письмо: «Настоящей Анке-пулеметчице из Чапаевской дивизии, которую я видела в кинокартине «Чапаев»...»

Нина Онилова закрыла глаза. Мы вышли из палаты. В кабинете начсандива можно было спокойно рассмотреть записи Ониловой. Она, очевидно, внимательно прочла рассказы Толстого о Севастополе: многие слова и строки были подчеркнуты карандашом, на полях книжки стояли восклицательные знаки, кое-где слова:

«Правильно!»,

«Как это верно!»,

«И у меня было такое же чувство!»,

«Не надо думать о смерти, тогда очень легко бороться. Надо понять, зачем ты жертвуешь своей жизнью. Если для красоты подвига и славы — это очень плохо. Только тот подвиг красив, который совершается во имя народа и Родины. Думай о том, что борешься за свою жизнь, за свою страну, и тебе будет очень легко. Подвиг и слава сами придут к тебе».

Эти торопливые надписи, как мне показалось, соответствовали строкам Толстого о переживаниях героев обороны Севастополя в 1854—55 гг. Тетрадь Ониловой начиналась словами Л. Толстого:

«Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...»

И здесь же, на той же странице, были написаны рукой комсомолки Ониловой такие строки:

«Да. И кровь стала быстротекущей, и душа наполнена высоким волнением, а на лице яркая краска гордости и достоинства. Это наш, родной советский город — Севастополь. Без малого столет тому назад потряс он мир своей боевой доблестью, украсил себя величавой, немеркнувшей славой.

Слава русского народа — Севастополь. Храбрость русского народа — Севастополь. Севастополь — это характер русского советского человека, стиль его души. Советский Севастополь — это героическая и прекрасная поэма великой отечественной войны. Когда говоришь о нем, нехватает ни слов, ни воздуха для дыхания. Сюда бы Льва Толстого. Только такие русские львы и могли бы все понять. Понять и обуздать, одолеть, осилить эту бездну бурных человеческих страстей, пламенную ярость, ледяную ненависть, мужество и героизм, доблесть под градом бомб и снарядов, доблесть в вихре пуль и неистовом лязге танков. Он придет, новый наш Лев Толстой, и трижды прославит тебя, любимый, незабываемый, вечный наш Севастополь».

Так могла отвечать гениальному русскому писателю только подлинная, не знающая ни страха, ни упрека, благородная патриотка.

В конце тетради — недописанное письмо, адресованное героине кинофильма «Чапаев»:

«Настоящей Анке-пулеметчице из Чапаевской дивизии, которую я видела в кино-картине «Чапаев». Я не знакома вам, товарищ, и вы меня извините за это письмо. Но с самого начала войны я хотела написать вам и познакомиться. Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица. Но вы играли, как настоящая, и я вам всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и так же храбро сражаться. Когда случилась война, я была уже готова, сдала на отлично пулеметное дело. Я попала, какое это было счастье для меня, в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим пулеметом за-

щищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень слабая, маленькая, худая. Но я вам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука. Первое время я еще боялась. А потом все прошло... (несколько неразборчивых слов). Когда защищаешь дорогу, родную землю и свою семью (у меня нет родной семьи, и поэтому весь народ — моя семья), тогда делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое трусость. Я вам хочу подробно написать о своей жизни и о том, как вместе с чапаевцами борюсь против фашистских...»

Письмо это осталось недописанным.

Убежал Варшавский и сказал, что Онилову решили перевести в другой госпиталь: там испытают еще одно средство спасения.

За жизнь этой славной девушки шла упорная, ожесточенная борьба. Из батальонов, полков и дивизий звонили каждые пять—десять минут. Всех беспокоила, волновала судьба героической пулеметчицы. Ответы были неутешительные. Медсестра Лида, дежурившая у телефона, в отчаянии сказала:

— Я не могу больше отвечать на эти звонки! Люди хотят услышать, что ей легче, а я должна огорчать их — говорить, что Нине все хуже и хуже...

Поздно ночью крупнейший специалист, профессор Кофман, дрожащим голосом сказал:

— Все средства испробованы. Больше ничем помочь нельзя. Она продержится еще несколько часов.

Потом мы узнали о последней просьбе Нины Ониловой. Очнувшись от забытья, она сказала:

— Я знаю, что умираю, и скажите всем, чтобы не утешали меня и не говорили неправду.

В госпитальной палате, склонившись над постелью Ониловой, стоял командующий. Голова его подергивалась, но на лице была ласковая отеческая улыбка. Он смотрел Ониловой прямо в глаза, и она отвечала ему таким же пристальным взглядом. Генерал тяжело опустился на стул, положил руку на лоб

Ониловой, погладил ее волосы. Тень благодарной улыбки легла на ее губы.

— Ну, дочка, повоевала ты славно, — сказал он чуть хриловатым голосом. — Спасибо тебе от всей армии, от всего нашего народа. Ты хорошо, дочка, храбро сражалась...

Боевой генерал, сдерживая нахлынувшие чувства, быстрым движением руки достал платок и вытер стекла пенсне. Все это продолжалось какое-то мгновение. Он говорил негромко, наклонившись теперь к самому лицу Ониловой.

— Ты хорошо защищала Одессу, помнишь лесные посадки, поселок Дальник, холмы...

На губах Ониловой теплилась улыбка. Она широко раскрыла глаза и молча, не мигая смотрела в лицо командующего.

— Весь Севастополь знает тебя. Вся страна будет теперь знать тебя. Спасибо тебе, дочка, от Сталина.

Генерал поцеловал ее в губы. Он снова положил руку на ее лоб. Нина Онилова закрыла глаза, улыбка шевельнула ее губы и застыла навсегда.

В палате вдоль стен стояли пришедшие проститься с «Чапаевской Анкой» боевые командиры-приморцы. С мокрыми глазами они подходили к постели Ониловой и целовали ее, своего верного и бесстрашного боевого соратника.

2. В ГЕНУЭЗСКОЙ БАШНЕ

Скоро полночь. Мы на Балаклавском шоссе. В высоком черном небе сверкающие звезды. Огромный матовый серп луны. Отчетливо вьется лента шоссе. Сегодня эта тихая южная ночь вызывает досаду. Немцы тщательно пристреляли несколько участков шоссе. Точно хищники, затаившись на ближних высотах, охотятся они за всем живым, что появляется на шоссе. Водитель выжимает из «эмки» все, на что способна эта хорошая машина. Холодный ветер пронзительно свистит в приглушенных стеклах. После бешеного рывка вперед машина замирает в темной полосе, жметя к деревьям, к разрушенным домам. Наконец, мы благополучно проскальзываем в Балаклаву. Ма-

«Новый мир», № 9.

шина идет по улице, прижимаясь к стенам домов.

В маленьком, прилепившемся к скале домике — КП комбата Кекало. Комбат встречает нас приветливо. Крупный и крепкий мужчина, он застенчив и потому скован в движениях. Мы обмениваемся последними новостями: он рассказывает о своем участке, мы — о делах на других участках фронта.

Подполковник Рубцов, непосредственный начальник капитана Кекало, хлопает комбата по плечу и любовно говорит:

— Не человек, а скала. Уж как его немец лупит, как давит! А ничего, стоит.

Кекало сконфуженно смотрит на Рубцова. Пожалуй, он мог бы рассказать кое-что и о подполковнике, но застенчивость мешает ему разговориться.

Рубцов расспрашивает комбата о прошедшем дне.

— Все в порядке, — докладывает Кекало. — Бросили за день ровно тридцать мин на улицы, дома и шоссе. Две бочки с воспламеняющейся жидкостью скатились от взрыва со скалы. Но пожар бойцы тут же ликвидировали. Немецкий снайпер подстрелил на шоссе одну старушку, шедшую в деревню Карань.

— Вот так и живем, — заключил доклад комбата подполковник. — Вот так и живем, каждый день что-нибудь случается. Ну, пошли, товарищи, а то генуэзцы, небось, ждут.

Мы крадучись прошли по улицам в овражек, из него в другой.

За небольшим холмом отвесной стеной поднимается гигантская скала, на вершине которой высится Генуэзская башня. Цепляясь за камни, согнувшись, начинаем крутой подъем. Карабкаться приходится над самым оврагом, дна которого в темноте не видно. Слышно, как внизу журчит весенняя вода, сбегающая с гор. Ползем, задыхаясь. Вспоминаются строчки дантовского «Ада»:

Так, огибая илестые жерла,
Мы гранью топи и сухой земли,
Смотря на тех, чьи глотки тиною сперло,
К подножью башни, наконец, пришли.

Перед нами вырастает массивное кре-

постное сооружение — старинная Генуэзская башня.

Глухой лязг затвора, тихий, но резкий окрик:

— Стой! Кто идет?

Из-за камня вышел часовой, пристально оглядел нас, узнал старшего командира и приветливо улыбнулся.

— Товарищи командиры, этим местом пройдите побыстрее. Да пригнитесь, а то, черт, залегла где-то здесь немчура доганая.

Через три минуты протискиваемся в проход башни. Бойцы прорубили его под немецким огнем. Дикая каменная кремень — с трудом откалывался киркой и ломом. «Инженер по строительству» Александр Мартынов с большим трудом прорубил проход в толстой, почти двухметровой стене. Проход низкий.

Небольшой отряд защитников башни, состоящий почти сплошь из комсомольцев, тесно сдружился. Душа отряда — его командир, младший лейтенант Григорий Орлов, бывший десятник строительства Московского метро, он строил станцию «Сокол». Как и все люди с открытой, доброй душой, он быстро завоевывает симпатии, уважение, любовь. В нескольких шуточных его словах сразу открылся нам характер этого человека. Он представился так:

— Сын собственных родителей, родился по собственному желанию. В последние месяцы занимаю должность командира Генуэзской крепости — по званию младший лейтенант. Никаких замечаний со стороны бойцов или командования не имею. Есть жалобы со стороны противника, но на войне они не учитываются.

Григорий Орлов — веселый, храбрый человек. Несмотря на свою молодость, он умный, терпеливый воспитатель. Однажды в башню прибыл новый боец. Назовем его Сенькин. Человек оказался не храброго десятка. Орлов взялся за новичка, взялся круто, но, вместе с тем, и любовно возился с ним, как с ребенком. Он рассказывал ему о храбрости и тут же показывал, какой она должна быть на деле: храбрость не ради бахвальства, а ради победы.

Орлов дважды и трижды в день ри-

скавал жизнью, обучая нового бойца смелости, боевой хватке, создавая и закаляя характер молодого воина. Сейчас Сенькин — смелый и разумный боец. Товарищ Сенькин улыбается, слушая дружеский рассказ Орлова.

— Было такое дело, — подтверждает он, — чего греха таить... Страшновато было. Стоим на краю скалы, кругом немцы, внизу море, стреляют круглые сутки, податься некуда...

Особую гордость защитников башни составляет то, что их позиция расположена на самом краю левого фланга громадного фронта Великой Отечественной войны. Именно здесь предельно ясно ощущается смысл слов: от Ледовитого океана до Черного моря! Здесь линия фронта круто обрывается с высокой скалы в море. Здесь кончается фронт.

Защитники Генуэзской башни приняли на себя бешеные удары немцев — за несколько месяцев более пяти тысяч мин и снарядов, несколько миллионов пуль было выпущено по ним. Около семидесяти раз немецкие головорезы днем и ночью штурмовали башню. Но все атаки были доблестно отражены с тяжелыми для немцев потерями. Защитники башни за все время осады не потеряли ни одного человека. Среди них нет даже легко раненных.

Быстро работают минометы, обстреливая немецкие позиции. После долгих штурмовых месяцев немцы отчаялись взять башню приступом. Они сделали попытку обойти ее овражками. В оврагах остались сотни трупов немецких солдат и офицеров. Но бешенство гитлеровских вояк достигло высшей точки, когда однажды утром над башней появился белый щит с черными буквами: «Смерть немецким оккупантам!»

Весь день стреляли немецкие пулеметы, минометы, артиллерия, но сбить щит не сумели. Он был продырявлен сотнями броневых пуль, осколками мин, но, недвижимый и видный на большом расстоянии, еще долго возвещал грозный приговор чужеземным кровавым захватчикам.

Мы сидим на матрацах, расстеленных вокруг пышащей жаром «буржуйки». За

стенной башни тяжело крикают немецкие мины, с металлическим глухим звоном лопаются стаканы снарядов. «Инженер по строительству» Саша Мартынов, человек гигантского телосложения, умерительно рассказывает, как он дрался с немцами и румынами.

— Был один боец у нас, но словами о нем не расскажешь. Маленький, хлюпкий такой. Вот Моторин помнит его. Все жаловался — слаб здоровьем, но как только штыковая атака — откуда сила берется! Пропорет немца штыком и тело через свою голову отбросит. Уж на что я сильный, но нескоро этой науке обучился, завидовал ему. Сжалился он, научил меня работать штыком — как втыкать, да как подбрасывать, на какую руку упор делать. Пошло дело...

Мы посмотрели в сторону Моторина. Он не спускал с Мартынова преданных глаз. Григорий Орлов шепнул нам:

— Моторин Мартынову жизнью обязан. Мартынов его, Моторина, с поля боя, тяжело раненого, вынес на руках, как ребенка. Вообще, товарищ корреспондент, если вам сказать, так об одном Мартынове можно целую героическую книгу написать. Уж на что я сам не трус и знаю это, но Мартынова признаю первейшим смельчаком. Ради дела, ради товарища в огонь и воду, на верную смерть пойдет. Попросите Моторина, пусть расскажет, как Мартынов партизанского разведчика спасал.

Мы обратились к Моторину, он подсел к нам, открыл было рот, но ничего не сказал. Мы проследили за его взглядом и увидели Мартынова. Тот хмуро покачивал головой и грозил Моторину пальцем.

— Я, Саша, только про разведчика расскажу товарищам, — попросил Моторин.

— Подумаешь, какой роман! Было дело и кончилось, — отрезал Мартынов.

В беседу вмешался военком полка Смирнов. Он урезонил Мартынова, объяснил ему, что хороших дел не надо стесняться. Подвиг Мартынова заслуживает широкой огласки. Саша нехотя согласился. Моторин рассказал следующее:

— Однажды утром начался ураганный огонь по башне. Думаем, что это с

немцами? Наблюдаем. И вдруг видим — бежит в нашу сторону человек. Немцы, снайперы и артиллеристы, бьют в него из пулеметов и минометов. Человек то упадет, то схоронится за камнем, то опять поползет или в рост побежит. По одежде видим: вроде наш человек, не немец. Потом узнали, что это был связной партизанского отряда. Ну, вот он уже совсем близко от нас. Да, видно, плохо место знал — все норовит к краю скалы добраться. Он думал, что там спуск. А там страшный обрыв со скалы в море. И вот поскользнулся он — утром камень от изморози скользкий. Видим, сорвался парень в море. Ну, что же делать? На войне всякое случается. Не было ему, как говорится, своей звезды в этом деле.

Обстрел немцы прекратили. Смотрю: Саша Мартынов из башни вылезает, ползет к обрыву. Уж потом он сказал нам, что стоны слышал, потому и пополз. Заглянул в обрыв и видит: лежит партизанский разведчик на уступе скалы в полметра шириной, вот-вот сорвется в море. От Мартынова до партизана метра два. Мартынов кричит ему:

— Приподымись, браток, и руку дай!

И сам по пояс перегнулся через обрыв, дотягивается. Немцы, конечно, заметили эту картину и как начали жаться! Камни от мин в порошок превращаются. Пыль белая, каменная облаком стоит. Но Мартынов товарища не оставил. Кое-как дотянулся до его поднятой руки, но схватить не сумел, только пальцами о пальцы задел и чуть было сам не сорвался в море. Второй раз попробовал. Партизан собрал все свои силы и тоже приподнялся навстречу рукам Мартынова. Во второй раз Саша ухватил-таки шарня за руки и как пушок через себя перекинул. Партизан потом часа два без памяти был — ушибся, когда со скалы упал. Ну, тут мы выскочили из башни и обоих втащили. Вот и весь подвиг. Не длинный, зато героический...

Осторожно, по одному выползли мы из башни. Свет луны падал на входное отверстие, освещая его. Вокруг было тихо.

— Фрицы спят, — сказал Орлов, — упарились за день. Сейчас разбудим!

Бойцы и командиры заняли свои посты на огневых позициях. Очереди трагически длинными огненными стрелами вонзались в близко расположенные, хорошо видные немецкие укрепления. Вслед за ними понеслись бронебойные. Застучали, точно молоты по наковальне, минометы. Начался ураган грохочущего и воющего огня. Над немецкими позициями взвились осветительные ракеты: одна, две, пять, десять. Все вокруг ожило, осветилось желтыми, белыми, синеватыми огнями.

— Проснулись, — с чувством удовлетворения проговорил Орлов, — им теперь все спать до утра. Ночь у немца пропала.

И действительно, до самого утра немцы выпускали ракеты, стреляли из минометов и пулеметов. Мы лежали за скалами, наблюдая за немецкими позициями, прислушиваясь к шуму катящихся камней, отрываемых от башни минами, к щелканью и свисту пуль. Внезапно гигантские лучи наших прожекторов, открытых где-то за Балаклавой, перекрестили небо, коснулись земли и уперлись в немецкие доты. Все видно, как днем. Ни один немец не высовывает носа. Все кажется мертвым, безжизненным. Только немецкие минометы и пулеметы усеивают землю осколками и пулями.

Луна спряталась за тучи, а потом ненадолго показалась над бухтой, посеребрила поверхность ее вод. Свет луны стал блекнуть. Усилился предутренний мрак, промозглой сыростью пахнуло от камней и моря. Мы вернулись в башню погреться у «буржуйки». Следом за нами пробрался из своего орлиного гнезда снайпер-охотник Аркадий Николаев. Он недоволен своей сегодняшней «охотой»: за весь день «припечатал» только трех фашистов. Николаев садится в уголок, разувается, умывается, закусывает.

Хорошо сидеть у теплой печки на утренней холодке за толстой каменной броней древней Генуэзской башни. Невольно думаешь о бурных веках, пронесшихся над этой башней. Сколько осад она помнит?

Рубцов говорит:

— Вот так и живем. Прошли века, а башня стоит. Перестойм и мы.

Вдруг Орлов запекает грудным голосом. Кто-то в темном углу грустно подгрызает на мандолине. Орлов поет песню о черном вороне, которую так любил Василий Иванович Чапаев:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой,
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой.

Эту песню защитники башни не устают слушать. Она проникает в их души, волнует, отвечает напряженной боевой обстановке. Песню слушают молча и восхищенно. Когда Орлов допел последние слова и смолк легкий и грустный звон струн, Мартынов глубоко вздохнул.

— Эх, если бы баян! Совсем зажиточно жили бы...

После песни разговорились. Все хотят знать о Москве, много, подробно. Расспрашивают с пристрастием. Вздыхают, когда беседа касается грозных, суровых ноябрьских дней. Здесь есть москвичи. Они спрашивают о каждой улице:

— А как мой дом на Дмитровке, в порядке?

— А завод номер такой-то работает?

— Какие фильмы идут в кино?

Все в один голос спрашивают о Сталине. Как бы передать привет товарищу Сталину, сказать ему:

— Мы, защитники самой крайней точки левого фланга фронта отечественной войны, защитники Генуэзской башни, не посраим родины.

Начинается рассвет, близятся утренние заботы нового боевого дня. Товарищи ползком провожают нас со скалы. Молодой и отважный «комендант Генуэзской крепости» младший лейтенант Григорий Орлов, крепко пожимая руку, повторяет тихо:

— Пусть в Москве не беспокоятся — родины не посраим.

Мы долго стоим на дне оврага и, закинув головы вверх, смотрим, как в рассеивающейся утренней дымке очерчиваются, растут контуры Генуэзской башни. Потом отчетливо возникает ее гигантский силуэт на фоне посветлевше-

го неба. Наконец, с первым лучом солнца громадная башня высится прочно и незыблемо, как крепость на вершине скалы.

3. БЕССМЕРТИЕ

Холодный ветер начисто вымел Дуванкойское шоссе. Снега еще не было, но земля уже обмерзла, затвердела. Ветер пронзительно свистит, обдувая гребень и скаты высоты у поворота шоссе. За высотой крутой поворот шоссе открывает дорогу на Севастополь. Потoki ветра, обрушиваясь из горных ущелий, вихрят на пустынном шоссе столбики серой пыли.

На высоте, на гребне ее и скатах иногда мелькают зеленые шинели немцев. Они прорвались сюда на танках и броневиках, оседлали высоту, закрепились. Танки и броневики ушли назад по Дуванкойскому шоссе — заправиться бензином и подбросить новые немецкие части.

Русские отошли ближе к Севастополю, развернулись, залегли на гряде холмов. Отсюда хорошо видны поворот шоссе и высота. И оттого, что они хорошо видны, люди горестно и молча вздыхают. Они оставили врагу высоту и поворот шоссе, которые открывали немцам путь на Севастополь. Самый строгий военный суд простил бы им этот отход. Было много обстоятельств, смягчающих эту страшную неудачу моряков, сошедших тут с боевых кораблей на твердую землю.

Немцы налетели неожиданно. С неба падали бомбы, по шоссе мчались мотоциклы и броневики с пулеметами и пушками. С двух сторон высоту обходили танки. И был огонь, свирепый, лютой: после него на земле не осталось ничего живого. И ко всему этому — сосед, который должен был поддержать на левом фланге, как-то незаметно растворился, исчез. Один только раз удалось с этим соседом поговорить по телефону. Командир отряда, старший политрук Мельник, прокричал в трубку:

— Слушай, друг, видишь, что делают? Ты уж мне левый фланг поддержи, не пускай их там!

Сосед обещал поддержать. А потом исчез. Быть может, у соседа было еще хуже, чем здесь, на высоте? Но толком никто об этом не сумеет рассказать. В боях бывает такая горячка, что и потом, после боя, в ней трудно разобраться.

Русские моряки — будь то балтийцы, черноморцы, североморцы, тихоокеанцы — свято берегут свою боевую историческую традицию — драться на смерть, до последнего человека. И этот последний человек продолжает драться до последней капли крови. Вот почему иногда некому рассказать, некому вспомнить о том, что было. Так до сих пор никто и не знает, куда делся сосед. А ведь там были верные люди, русские львы — черноморцы!

Оттого, что люди хорошо видели поворот шоссе и высоту, по которой разгуливали немцы в зеленых шинелях, людям было горько, больно и обидно. Позади был Севастополь. Он верил им и ждал от них действий, защиты. А они оставили высоту и отошли. Никто не осмелится сказать, что эти люди — трусы. Но вот бывают в горячке боя такие секунды, когда со всех сторон насаждают враги, когда отовсюду сечет огненный ливень и, как на зло, сосед слева исчезает, а под ногами земля и дальше опять земля с удобными бугорками, холмами, и там можно залечь и не попасть в окружение.

Когда горечь обиды дошла людям до сердца и сжала горло, комиссар сказал:

— Ну, что же, товарищи, умели отдавать, надо суметь и взять!

Отряд черноморцев рванулся вперед. Люди в черных бушлатах широкой волной накатились на высоту. Разве может что-нибудь отбросить морскую волну?

Моряки отобрали высоту обратно, выбили немцев, искрошили их гранатами, прикладами, огнем пулеметов. Высота взята вопреки всему, и крутой поворот шоссе, открывающий путь на Севастополь, опять в наших руках. Большой радости в этой победе не было. Люди сделали то, что должны были сделать: исправили свою ошибку. Но зато к ним опять вернулось бодрое настроение,

чувство достоинства — честь моряков не посрамлена!

С высоты они оглянулись назад, на шоссе и примыкающее к нему с обеих сторон поле, усеянное черными бушлатами, поле, где только-что шел свирепый бой. Они поняли, что прошли через смерть и стали теперь над нею. Они стояли на гребне высоты и на скалах, как на палубе корабля, на боевом мостике.

На следующий день показалось стадо овец. Овцы и бараны сплошным потоком бежали по полям и шоссе. Моряки смеялись: вот и шашлычок немец послал нам! Они видели немецких автоматчиков, прятавшихся в стаде, но продолжали смеяться. Когда живой овечий поток был уже у подножья высоты, пулеметчики Щербаков и Лавров по приказу старшего политрука Мельника открыли огонь. Пулеметные струи ложились в середине стада, и по сраженным автоматчикам вприпрыжку проносились бляевшие от страха овцы и бараны.

Немецкая уловка не удалась. Автоматчиков истребили, стадо моряки перегнали на нашу сторону и отправили его в Севастополь. Себе оставили только убитых животных. Кок Гладышев круглосуточно жарил шашлыки: огромные куски мяса, в кило весом каждый, свежие, хорошо прожаренные и ароматные.

Прошла ночь. Утром показались немцы. По шоссе и полям ползли черные танки, за ними, прячась за броню, шла немецкая пехота. И опять в воздухе зарычали «юнкерсы» и «мессершмитты». Неистовые шквалы падали на высоту с неба, другие шквалы обрушивались с земли. Но моряки прочно стояли на земле. Как сказал комиссар? Он сказал:

— Моряки дерутся до последнего человека, а последний человек — до последней капли крови.

За высотой, ближе к немцам, насыпь. За насыпью лежит десяток моряков-комсомольцев во главе с политруком Николаем Фильченко. Отсюда им хорошо видны и танки, и немецкая пехота. Между камней ползет комиссар. Добравшись до насыпи, он говорит:

— Ну, как, братки, примем?

И ему отвечают:

— Примем.

— До последнего? — спрашивает комиссар.

— До последнего, — отвечает за всех Николай Фильченко.

У него дрожит правая густая, черная бровь. А рот улыбается, и в верхнем ряду зубов виден один металлический.

— Кто пойдет, братки? — спрашивает комиссар.

— Я! Я! Я! — отвечают моряки по очереди.

Комиссар сказал:

— Все ни к чему. Только пятерых нужно. Остальные будут здесь.

Николай Фильченко отобрал четырех моряков-охотников. Он командовал:

— Красноармеец Василий Цибулько — пулемет и гранаты.

— Есть, пулемет и гранаты, — отвечает Вася Цибулько.

— Красноармеец Юрий Паршин — винтовка и гранаты.

— Есть, винтовка и гранаты, — отвечает Юра Паршин.

— Красноармеец Иван Красносельский — винтовка и бутылки с зажигательной смесью.

— Есть, — отвечает Ваня Красносельский.

— Красноармеец Даниил Одинцов — винтовка, гранаты и бутылки.

— Есть, — отвечает Дания Одинцов.

Четверка моряков во главе с политруком Фильченко поползла навстречу танкам. Семь немецких танков грохотали навстречу пяти черноморцам. Вася Цибулько повалился со своим пулеметом за бугорок, наметил один танк и дал две коротких очереди по смотровым щелям. Но танк продолжал идти напролом. Цибулько закусил губу, прищурил левый глаз и дал еще одну очередь по щели. Танк качнулся на ходу, повернулся боком к пулеметчику и застыл.

— Ну, и собака! — возбужденно крикнул Цибулько.

Неожиданно возле танка появился Ваня Красносельский и швырнул бутылку с зажигательной смесью. Танк окутался черным дымом, запылал. Цибулько бил короткими очередями по смот-

ровым щелям других танков. Юра Паршин и Ваня Красносельский появлялись вблизи танков и швыряли в них гранаты и бутылки. Еще два танка запылали на поле, как ночные костры пастухов, когда смотришь на них издали. Тем временем Николай Фильченко и Даня Одинцов гранатами отрезали пехоту от танков.

Два часа сражалась пятерка черноморцев. Уцелевшие немецкие танки развернулись и помчались назад. За ними ринулись немецкие солдаты, оглашая воздух дикими воплями. Они отставали от танков, и их лупили из станковых пулеметов и минометов с высоты, а из-за насыпи их лупили отважные бойцы политрука Фильченко.

И опять на шоссе и полях установилась тишина. Улетели немецкие самолеты, тщательно отбомбив поля вокруг высоты. Наступил полдень. Кок Гладышев принес бойцам Фильченко шашлык. Бойцы уплетали мясо, смеялись, делились впечатлениями боя с танками. Азартная молодость, сознание достойно выполненного долга наполняли их радостью.

Но только ушел Гладышев, как снова появились немецкие танки. На этот раз пятнадцать танков грохотало к насыпи, за которой укрылись смельчаки, и к высоте, стараясь обойти ее. Шли пятнадцать немецких танков — по три на каждого моряка. Фильченко обежал глазами шоссе и поля. Слева беглым шагом двигались к высоте сотни две немцев. Он хотел было попросить у комиссара еще пяток бойцов, но теперь, увидев этих шедших в атаку немцев, передумал. На высоте — людей по пальцам можно пересчитать. Дай им, бог, отбиться от этой оравы!

Фильченко оглядел своих бойцов. «Эх, друзья мои, родные братики!» — подумал он. — «Вот и пришел наш смертный бой до последней капли крови». Но вслух он яростно сказал:

— Держись, немец, — не пройдешь!

— Не пустим, — сказал Цибулько.

— Ну как, братки, примем? — подражая голосу комиссара, спросил Ваня Красносельский. Он сделал скорее страшное, нежели серьезное лицо и, не удержавшись, улыбнулся. Но, взглянув на Фильченко, погасил улыбку, и она

сползла с его губ: он понял, что вот приближается, наступает тот смертный бой, к которому всегда, в любую секунду должен быть готов воин.

Юра Паршин, сидя на корточках, смотрел из-за насыпи на танки:

— Еще километр примерно остается, — сказал он, оборачиваясь к Фильченко.

— Товарищи краснофлотцы! — Голос Фильченко дрогнул. — Поклянемся драться насмерть! Приказываю бить по танкам, атаковать, не пропустить к высоте!

И тихим, душевным голосом политрук добавил:

— Ведь за высотой Севастополь...

Первым подполз к Фильченко (вставать в рост нельзя было, потому что немцы били из пулеметов по насыпи) Даня Одинцов. Он крепко пожал руку командира. За ним подполз Красносельский, потом Цибулько и Юра Паршин. С побледневшими лицами, сухими губами они шопотом произносили только одно слово:

— Клянусь!

А танки уже близко — метров двести пятьдесят.

И начался бой. Опять Цибулько бьет по смотровым щелям головного танка и первой же очередью останавливает черное чудовище. Он бьет без передышки по другим танкам и вдруг чувствует, как сердце его холодеет: не слышно знакомого рокота пулемета. Патроны кончились. Цибулько сползает с насыпи в канавку. Он ползет канавкой в поле. Там один танк норовит прорваться, обойти высоту. Цибулько приподнимается. Рядом с ним запылила под пулями сухая земля. Он швыряет две связанные гранаты под гусеницы танка. Черная туша приподнимается и потом падает прямо на колеса — гусеницы сорваны гранатами.

Кольнуло руку. Кровь. Ранен. Но разве почувствуешь рану, когда вся душа — огромная пылающая рана, призывающая к мести этим немцам, погнавшим нашу землю, этим танкам, крошащим живых и мертвых людей? У него есть еще одна связка гранат, и он ползет к другому танку. Бросок. Тяже-

лый взрыв. Комья земли падают на голову и плечи. И вдруг что-то тяжелое и горячее толкает молодого моряка в грудь. Он падает на землю, и на открытые глаза его черной пеленой опускается огромное небо. Василий Цибулько смертельно ранен.

Ваня Красносельский глазами спросил Фильченко: можно? Тот кивнул головой. Краснофлотец выбежал из-за насыпи навстречу ближнему танку. В каждой руке по две бутылки с горючей жидкостью. Метким ударом он зажег танк. На секунду он сам скрылся в клубах дыма, в длинных языках огня. Но вот он бежит дальше. Падает на колени. Пулеметная очередь второго танка подкосила его. Но черноморец еще ползет, держа в руке две бутылки. Он подползает вплотную к танку и разбивает о его броню, о моторный люк свои последние две бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Второй пылающий танк бешено завертелся на месте. Под его гусеницами исчезает раненый Ваня Красносельский.

Фильченко, Одинцов и Паршин бьют из-за насыпи по танкам. Но и у них кончаются патроны. Фильченко бросает винтовку в сторону. Он молча подвязывает к поясу связку гранат. Одинцов и Паршин делают то же самое.

Пять немецких танков уже в пятидесяти метрах от насыпи. Фильченко крепко обнимает друзей и целует их в губы. Они молча прощаются друг с другом — насупленные и бледные от ярости и ненависти. Танки уже в двадцати метрах. Из-за насыпи выходит Николай Фильченко. Он идет навстречу немецкому танку ровным шагом, спокойный, с высоко поднятой головой. В руках его нет оружия. Он не сворачивает в сторону, танк набегае на него. Раздается тяжкий взрыв. Танк валится набок.

Из-за насыпи видят гибель своего любимого друга и командира Даня Одинцов и Юра Паршин. Остальные танки приближаются к насыпи. Молодые моряки в черных бушлатах, в бескозыр-

ках с ленточками, которые треплет ветер, выходят слева и справа из-за насыпи.

— Прощай, Юра! — кричит Даня Одинцов.

— Прощай, Даня! — кричит Юра Паршин.

И вместе, полные отчаянной решимости, они кричат:

— Да здравствует наша родина!

Даня Одинцов падает на землю, хватается рукой за грудь. Немецкий танкист в упор всадил в него очередь из пулемета. Но Даня Одинцов ползет к танку, царапая руками землю. Вот и гусеницы. Взрыв. Танк, взобравшийся был на насыпь, переворачивается. Раздается второй тяжелый взрыв. И еще один танк, лязгая и скрежеща, валится с насыпи. Это Юра Паршин лег под гусеницы.

Нет, не пройти здесь немцам! Уцелевшие танки разворачиваются на ходу и мчатся обратно, откуда пришли.

А на скалах высоты шел рукопашный бой. Казалось, немцы вот-вот одолеют горсточку моряков, сомнут их. И вдруг немцы посыпались с высоты в поле. Они увидели, как попятились их танки. Следом за немцами покатились слабое, но дружное черноморское «ура».

Когда к насыпи подошли моряки, удержавшие в лютом бою высоту, они увидели тех, кто телами своими заслонил танкам дорогу к высоте, путь на Севастополь. Только Василий Цибулько был еще жив. Он лежал, прислонившись спиной к бугорку, и смотрел, как его братья-друзья сражались с немецкими танками. Василий Цибулько, умирая на руках товарищей, рассказывал им подробности схватки.

Имена пяти молодых моряков — Фильченко, Одинцова, Красносельского, Цибулько, Паршина — отныне бессмертны, и родина наша никогда не забудет их.

Холодный ветер гуляет по Дуванкойскому шоссе. На самом гребне высоты насыпь из камней и земли. Холодный ветер обдувает ее. Здесь погребены бессмертные герои, молодые черноморцы.

Мир и война

ВЛ. ЛИДИН

★

Здесь были воспоминания, мир. Отбушевала долгая и противоречивая жизнь Толстого. Могильный холм был летом покрыт свежим дерном, зимой — еловыми ветками. Вступая в тишину яснополянской усадьбы, мы сами тишались, обращенные к прошлому. Образы, ставшие нашими спутниками, шествовали рядом с нами по аллеям парка. Здесь Кити застала гроза. Из этой засеки вынес Толстой впечатления детства и отрочества. Андрей Болконский, может быть, жил в этом доме. Все, что оставил Толстой, дополняло глубокую сосредоточенность русского пейзажа, русской души. Мы задумчиво переходили от предмета к предмету, еще дышавшим жизнью Толстого. «Дерево бедных» с привешенным колоколом было уже музейно обнесено проволокой. Шнурки были протянуты от одной ручки кресла к другой. Мир заступил недавнюю душевную борьбу великого человека, его сложную жизнь, его военное прошлое, в котором были и осада Севастополя, и война на Кавказе... Мы привыкли приходить на могилу Толстого с тишиной в душе, полные этого мира яснополянской усадьбы. С ней была связана часть нашей личной судьбы, как с духовным развитием не одного человека был связан художник-Толстой.

Яснополянский мир окончился, и началась война. Она вторглась сюда, в тишину снеговых аллей, в зимний сосенный шум, в дом Толстого. Все ненавистное Толстому, столько раз изобра-

женное в его книгах, все, что осталось материальной памятью великого имени, загадил, залил кровью, сжег и ограбил враг. Сожженная школа стоит напротив Ясной Поляны. Сожженный учительский дом чернеет безглазыми окнами. Грузовиками вывозили отсюда черные остатки немецкого пиршества. Мир для Ясной Поляны окончился, и наступила война. Пусть заботливой рукой народа-хозяина восстановлен подожженный дом Льва Толстого. Пусть снова всходят на тщательно разделанных грядках капуста и помидоры. Пусть опять прекрасно шумят вековые дубы и музейные работники расставляют экспонаты и развешивают мирные ярлычки и наклейки, — в Ясной Поляне война. Прозрачный гений художника перелистывает страницы нашей великой истории. Его «Война и мир» стала необходима миллионам людей, и читатель проясненно откладывает любимую книгу, в которой величие русского народа, его борьба, его подвиги звучат голосами сегодняшней борьбы.

Они приходят сюда, наши бойцы. В походной пыли, по дороге на фронт они идут сюда, в дом Толстого, и вписывают в книгу посетителей простые свои имена, как свидетельство благодарной памяти народа. Есть в этой потребности притти сюда, к источнику национальной славы народа (иногда походным порядком, за несколько десятков километров), нечто от глубокого чувства своего народа, страны. Это именно они, наши бойцы, —

рядом с карандашной записью в толстой книге посетителей: «Первые немцы в войне против России», с росчерком уверенных подписей, — это именно они, бойцы, приписали: «Жалко, что не удалось их нагнать». Все дышит войной в этой недавно мирной усадьбе Толстого. Не только потому, что она близка, война, что ее страшные следы еще зияют в сожженных развалинах, что эскадрильи наших бомбардировщиков с гулом проносятся над старой засекой к линии фронта, что ночью и днем движутся по дорогам тяжелые военные грузовики. Война здесь также и в том, что художественное наследство Толстого стало оружием этой борьбы, что оно помогает в войне.

Все было попрежнему в Ясной Поляне: цвели маки, и пряный жасмин густым запахом лился вечером в открытое окно, и лес шумел свежим пленительным шумом. Но Толстой как бы ушел в самую дальнюю глубину родного народа: не у одного бойца в вещевом мешке, не у одного командира в планшете можно найти книги Толстого с их удивительным изображением героизма русской души...

В тишине вечера на терраске дома Толстого с резвыми петушками баллюстрады сумерничали. Небо, зеленое от летнего заката, становилось гуще. Казалось, жасмин томился от избытка густого сладчайшего своего запаха. И мужской неспешный голос с тульскими неповторимыми оборотами говорил в тишине, и слышно было, как вздыхали женщины.

— Да. Вот он берет меня за грудки и все куда-то толкает. Я пячусь, весь обомлел, и страх у меня, и не понимаю, чего ему надо. Я ему все говорю: «Тебе чего? Тебе чего?», а он меня все толкает, и так до самого дивана дотолкал. Я сел, сердце у меня стучит, и вижу, он за валенок мой берется. Ну, тут я сразу понял и ему говорю: «Что ж ты, дурачок, сразу не сказал, что тебе валенки нужны? Какого страху я натерпелся». Ну, он валенки снял и пошел, а я остался и прямо трясусь от радости, я думал — он меня сразу при-

кончит. А ему, значит, только валенки были нужны. Обмотал я портянками ноги, ну, думаю, — только б уйти. А среди них полячок один был, по-русски понимал. Он мне говорит: «Он, дедушка, у тебя валенки не по праву взял, иди прямо к старшему и заяви, он тебе валенки вернет». Ну, я, старый дурак, и поверил. Прихожу я к старшему, говорю: «Пан, гляди, с меня твой солдат валенки снял», и показываю на ноги. Он, значит, посмотрел мне на ноги, потом вот так за загривочек меня взял, да и ногой под зад... Ну, я прямо упал в снег и давай ходу к дому, старый дурак, во что поверил.

Человек тихо зашелся смехом, рассказывал он, вероятно, не в первый раз, — и женщины снова вздохнули.

— Да. Остался я, значит, дома и больше никуда, только утречком к колодцу за водой — и домой. Стали мы с племянником наклювники для петухов делать. Как только петух закричит, — сейчас же за курами немцы являются. Раз петух у тебя есть, должны быть и куры. Ну, мы всем петухам наклювники на деревне сделали, сидели тихо, птица кое у кого сохранилась.

Старик замолчал, и слышно было, как засипела в тишине его трубочка.

— Ты мне вот что скажи, — сказал затем он снова, все еще не успокоенный. — Откуда в нем эта злоба сидит? Вот пчелок в ульях водой залили. Пчела, ведь она — немецкая или русская — все равно пчела. Она для человека трудится. Откуда у него эта злоба?

Теперь ответила женщина:

— Ихний у нас в избе ночевал — шут его знает, может, офицер, может, кто еще старше, — сказала она. — Ну, мы чистую половину всю ему уступили, легли сами в сенцах. А холод лютый, сенцы ведь не топлены.

— Не топлены, — согласился старик.

— Ну, у меня младший, Мишутка, конечно, не спит. Я уже его и сюда хороню, и сюда хороню, чтобы крика его не слышали. Да разве он понимает. Тут вдруг дверь настезь, и ихний с ремнем. А ремень пошире солдатского, вот истинный крест. Сложил он ремень

вдвое, Мишутке зад заголил и как начал хлестать. Я кричу: «Пан! Пан! Чего ты делаешь? Ведь он же несмышленный, ему трех годиков нет». А он дверь ногой и меня прямо с ним на мороз: иди, ночуй, где хочешь. Я по снегу бегу, в один дом стучу, в другой, — а люди, конечно, притаились, каждый думает, — немцы. Спасибо, свояченицы свекровь пустила.

И так он шел, нескончаемый этот разговор, на терраске толстовского дома, и вздыхали женщины, и снова начинал старик, — все это было уже рассказано десятки раз, и все еще душа тосковала и не могла растолковать себе и другим: откуда в нем такая подлая злоба? Казалось, в ночной тишине яснополянского парка, что это герои великой эпопеи 1812 года, которым на десятилетия дал жизнь Толстой, говорят языком русской правды и горького раздумья русской чистой души... Казалось, мало для народного горя летней ночи, ничего не успеет рассказать за короткую ночь томящийся дух человека. И мы поняли, почему за десятки километров приходят сюда наши бойцы и оставляют записи в книге, полные обещаний за все заплатить, за каждую обиду и горечь родного народа.

Яснополянский парк уже спал. Лес, шумевший весь день, был неслышен. В музее, где с утра развешивали сотрудники экспонаты, еще лежали на полу и на стульях приготовленные к развеске картины и снимки. В ночи с далеким шумом двигалась по дороге артиллерия. Короткая ночь переходила в рассвет. С гулом к линии фронта пронеслись первые наши бомбардировщики.

Они шли на большой высоте, и два истребителя сопровождали их по бокам, розовые от восходящего солнца. Рано утром, в шестом часу, пришли первые посетители. Это были бойцы в стальных шлемах, еще пыльные от вечернего перехода, и для них с почетом в непохожее время открыли двери музея, ибо это пришел народ. Первый длинный луч упал в жилище Толстого, и бойцы долго стояли в сводчатой комнате с вделанными в своды кольцами, где он писал «Войну и мир». Может быть, они не читали никогда эту книгу, но с именем Толстого была связана слава народа, из которого они произошли и который уходил теперь защищать. Потом они прошли в другой дом, где были вывешены лубочные картинки 1812 года и снимки с разрушений, оставленных немцами на русской земле. Жаркий летний день уже разгорался за окнами, и задумчиво, русским неповторимым пейзажем лежали поля и кучевые облака над ними, как воспоминание о мире, который сменила война.

Мы покидали усадьбу Толстого утром. «Цель народа была одна: очистить свою землю от нашествия» — как завет и призыв висела короткая запись Толстого в его восстановленном доме. Она висела в рамке на стене, среди музейных экспонатов, нетронутая временем и внятная каждому, как звонкая правда истории. Мир яснополянской усадьбы окончился, и теперь шла война. Она велась во имя мира и счастья для родного народа, которому Толстой посвятил лучшие страницы своих неумирающих книг.

Село Прелестное

БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ

★

Есть на Украине село Прелестное. Так назвали его наши предки, которые давали названия землям и городам.

Я помню его еще с детства. Село над рекой, как на серебряной дороге. По ней отправлялись на ярмарки. Плыли на лодках, расписанных птицами — такими живыми, что в детстве мне казалось — это птицы тянут лодку по реке.

Мы знали — там золотые яблоки, как дыни, там в бочках мед кипит, там горшки звенят, как мандолины.

С сердечным трепетом подъезжал я к этому селу по благодатному краю, где села называются Яблочное, Хорошее, Отрадное; и хаты такие белые, что ночью под месяцем светятся, как свечи. И девушки, будто в садах выросли рядом с цветущими вишнями, и старые деды с седыми усами и черными, как уголь, люльками похожи на патриархов. А бабы в ярких платках с такими большими яркими цветами, каких и на полях не увидеть. И гармоньи играли, как нигде на свете, так что луна, которая должна светить на всю землю, бывало, застаивалась над селами и слушала гармонь в летнюю ночь на Украине.

Я вышел на косогор и глянул в балку и вместо села увидел черную яму, словно трещину от землетрясения.

Лишь черные зубцы сожженных хат, или вдруг стена с раскрытыми окнами, или печь с торчащими на ней горшками. Обгорелые деревья, как черные скелеты, могильные ямы и сорванные крыши, гремящие на ветру.

Прилетают птицы, кружатся над ме-

стом, где было село, улетают и снова с криком возвращаются. Они улетели осенью, когда в балке расстилалось Прелестное, где на деревьях, на чердаках, в соломе крыш, в самых уютных и теплых местах были их гнезда с мягким пухом и соломинками. А теперь прилетели из-за синего моря на свою родину, избранную еще птичьими предками, которые завещали им ее помнить и каждый год возвращаться для продолжения рода, и не нашли ее. Они поднимаются высоко в небо, точно там ищут потерянную родину, и камнем падают вниз: не появится ли внезапно, как в сказке, село. Какая-то птица села на черное дерево, кричит и плачет, как ребенок. А люди стоят на холмах, глядят на черную яму, где было их село, и плачут вместе с птицей.

В село мы вошли на рассвете.

Сначала из погребов показались бороды — старая земля спрашивала: кто на нее пришел. Увидев нас, вылезли старики и закурили люльки. Это были люльки мира.

Появились дети. Золотые головы из всех погребов. Это был будущий народ, — поколение, для которого, русской кровью политая, освобождена земля, чтобы говорили они по-русски, учились по русским книгам, пели русские песни, продолжали русский род. А за ними со слезами радости появились женщины, и кто нес бойцам черствый пирожок, а кто уже и горячую паланицу, только-что испеченную в земле на раскаленной жести.

Вылезает народ с кадушками, ведрами, люльками, крестьянскими корытами, чугунами, кочергами. Там, в темноте и теплоте родной земли, он прожил эту страшную зиму. В утробе матери-земли он плакал, любил, вспоминал, видел сны вещие, прислушивался к своему сердцу, вел колыбельные песни, которые ни на одну ночь не затихали, потому что народ продолжал жить.

И вот он выходит на волю под синее небо.

Они черные от темноты земли, будто земля наложила на них свою тень, они стоят на холме и жадно смотрят на небо.

Проснувшиеся птицы на деревьях увидели солнце и, повернув свои разноцветные головы, запели все сразу. И вдруг выпущенный из погреба петух с огненным гребнем взлетел на ворота и, повернувшись к восходящему солнцу, закричал: кука-реку! И этот золотой в свете солнца петух с развѣвающимся гребнем, единственный на все село, будто звал к жизни, к возрождению всю природу. Это был крик рассвета, крик утра, зов начинающегося дня.

Солнце поднималось торжественное. На холмах сверкали штыки, и казалось — это на штыках принесли солнце. Мать выносит ребенка, который еще не видел белого света. Он родился в земле. И он с удивлением глядит на небо и ручкой все пытается поймать солнечный луч.

Люди стояли на черной горячей земле босиком, ограбленные, и чувствовали, как сила земли приливает к ним, будто теплота всей земли заполняла их и великая надежда вливалась в их сердца, и они снова хотели жить и трудиться, и в поте лица своего добывать из земли хлеб.

И вот уже женщины вынесли корыта и стали стирать черное, как сама земля, белье народа, бывшего в неволе. И у труб, одиноко стоящих под небом, появились женщины и под синим небом, открытые всем ветрам, варили пищу, и поднимался над селом дым очагов, который виден был далеко вокруг всех окрестных селам.

Кто-то глянул на солнце, понюхал ветер и, плюнув на руки, взялся за вилы и стал перекидывать навоз. И, глядя на старика, вся деревня молча взяла вилы, лопаты, и по всему селу пронесся вздох труда. В свете солнца точили топоры, острили пилы.

А старики собрались вокруг колодца. Крестьянский колодец! Летом вода, как лед, а зимой пар над ним, будто здесь к людям выходит вся теплота земли. Когда селяне возвращались с ярмарок, в новых сапогах, с гармоникой, в ярких платках, когда в былые войны солдаты прибывали из далеких походов, запыленные пылью всей земли и овечьими ветрами и порохом, — они еще издали, с косогора, видели — кланяется журавль, и знали — живо село.

Немцы загадили, заплывали колодец, а когда уходили целой ротой, все по очереди помочились в него.

Люди стоят над колодцем и кричат в него:

— Трохим! Трохим!

— Я! — беспрестанно отвечает Трохим из глубины земли, извещая, что жив и делает то, что ему надо делать.

Люди молча ждут, заглядывая в колодец, и потом снова начинают кричать:

— Трохим! Трохим!

— Я! — снова доносится из глубины земли.

И вот уж новый журавль, как белая птица, взлетает над крестьянским колодцем и течет по желобу, звенит и искрится ключевая вода.

И все, кто сейчас подъезжает к селу, еще с косогора видят новый журавль, взлетающий над колодцем, и все знают — живо село, хотя и сожжено, но живет и отныне будет жить, пока не высохла в земле вода и есть на земле человек — народ украинский, будет жить село, возникнет из пепла и снова зацветет над рекой.

Фронт ушел вперед. Орудийный гул далеко за холмами и лесами. Мы поехали туда, и когда через неделю возвращались назад, нельзя было узнать села.

За несколько дней со времени изгнания немцев черная земля, изрытая снарядами, минами, сожженная, кровью за-

литая, пеплами, головешками, железом и человеческими костями засеянная, покрылась высокой травой и яркими цветами. Никогда еще так буйно и одновременно не росли все травы, все растения, словно вздохнула свободно земля, расправила прудь. Сразу буйно проросла вся земля, овраги и косогоры в одну ночь покрылись зеленью, и даже черный, полусожженный дуб и тот пустил зеленую ветвь. Это был могучий напор всех соков, непреодолимая жажда возрождения. Красные свечи зажглись на елях, листья берез светились внутренним светом. Поля и луга расцветали, и люди постепенно узнавали свою страну, где они родились.

Только прошла гроза. Крестьяне стояли на холмах после грозы, как бы освежившей и очистившей воздух от дыханья врага. Над ними проплывали черные тучи, ветер уносил их, разорванные и мятущиеся, будто уносил от этих мест несчастье. Все в мире засверкало, засветились деревья, разливая вокруг себя зеленый свет, крыши изливали свет серебряный, а небо было в радуге, и какая-то вольная птица поднялась и запела, задевая крылом радугу.

Солнце осветило обновленную землю, памятную народу с детства.

Как после боя, дымилась вспаханная поля, но это был уже не дым войны, а дыханье жизни. Над землей поднимался пар. Земля была горячая. Она как бы кричала, чтобы в нее кинули семя. Она хотела снова родить добро для людей.

Еще неуверенно глядел народ на черную землю, расстилающуюся перед ним. Еще стоял в воздухе гул войны, казалось, еще носился в воздухе каркающие крики врага-чужеземца.

Я видел, старейший дед Тарас, весь белый, с лукошком на груди, смело вышел первый в поле и широким взмахом старой, но сильной руки, привыкшей к труду и к власти в семье, кинул в горячую землю горсть семян.

И за ним двинулась вся деревня, по всему чистому полю, деды и женщины и даже дети, широко и вольно кидая направо и налево от себя щедрой горстью семена, многие с молитвой на

устах и все с надеждой в сердце. И чем дальше они шли в глубь поля, тем увереннее были шаги. Изредка какой-нибудь мальчик нагнется и вскрикнет: «Фриц!» Люди останавливаются и разглядывают черную раздробленную кашку, похожую на старый горшок.

Порубили, потоптали железными сапогами немцы фруктовые сады, посекали даже пни, будто боялись: пустят пни ветви и снова покроются плодами. Но у хаты старого Тараса покалеченная, недорубленная яблоня вдруг расцвела. Великая сила вспыхнула в ней, точно земля отдала ей все соки и красоту всех порубленных и затоптанных садов. И расцвела она посреди черного села, разливая вокруг себя свет. Все пчелы налетели на эту яблоню, и она гудит на восточном ветру, как улей. Весь народ собрался и глядит на цветущее дерево, как на чудо, будто перед ним явилось воспоминанье детства.

Старый Тарас притащил почерневшие в огне пожара опромные садовые ножницы и обрезал сухие ветки, глиной замазал ранги и трещины, а девушки покрыли ствол белой известью, будто одели яблоню в праздничное платье, мальчики прорыли от колодца ручеек, и льется к яблоне звонкая вода. Все село ходит за ней и холит как дорогую память. Расцвела, зазеленела яблоня, как память о цветущей Украине, которая была и будет. Покроется она золотыми яблоками. Это будут яблоки возрождения, яблоки молодости, как сказочные молодильные яблоки. Рассеются яблочные косточки и покроется снова земля вокруг Прелестного яблоневыми садами, как цветущими лесами.

Прогонят врага-чужеземца, вернутся каменщики со своими тяжелыми молотами, плотники со своими фуганками, легкими, как ласточки, маляры со своими яркими кистями, и народ поставит новые дома с большими печами и широкими окнами, в которых отразятся цветущие поля.

И снова завертятся мельницы по всей Украине, деревни наполнятся запахом горячего хлеба, и в хатах маленьким детям снова будет казаться, что это на деревьях выросли пироги да бублики.

Пока я обо всем этом думал, вдруг проезжий боец-шофер с гармоникой, на которой были нарисованы цветы, — а когда он раскрывал ее, цветы будто расцветали, — заиграл «Рече та стогне»... И, услышав звуки родной песни, заплакали селяне: сколько дум, сколько воспоминаний вызывают в русском сердце звуки гармонии. Они как бы обновляют, омывают живой водой русскую душу, возрождают к новой жизни.

На пруду, разбуженные, закричали лягушки, в кустах жасмина соловей, вернувшийся на свою родину, запел о любви и продолжении рода.

И вдруг где-то совсем близко закуковала кукушка: «Ку-ку, ку-ку!» И каждый про себя подумал: «А ну, сколько я проживу?»

А кукушка кричала: ку-ку, ку-ку, ку-ку, без конца, будто жуковала народу бессмертье.

В лесу стоял шум, точно барабанный бой. Грохотала наша артиллерия. В лунном свете видны были на опушке вытянутые жерла орудий.

Они охраняли возрождение природы. Они охраняли украинское село Прелестное.



Международный обзор

В. СТАМБУЛОВ

★

Приезд в Москву г. У. Черчилля. — Мощное движение на Западе за открытие второго фронта. — «Новый порядок в Европе». — «Сражающаяся Франция». — Югославия в огне. — Дьеспский рейд.

Приезд в Москву главы британского правительства г. У. Черчилля составляет одно из тех важных событий, которые имеют огромное значение для наиболее эффективного и успешного ведения войны против фашистских агрессоров.

Все помнят те ухищрения и темные махинации, на которые пускалась гитлеровская дипломатия, чтобы помешать созданию мощной антигерманской коалиции трех величайших держав мира: СССР, Великобритании и США.

Подготавливая исподтишка вероломное разбойничье нападение на Советский Союз, гитлеровцы изображали затеянную ими кровавую авантюру на Востоке как «крестовый поход против коммунизма», в котором, якобы, Англия и Америка заинтересованы не менее самой Германии. Эта жалкая игра не смогла обмануть ни англичан, ни американцев. Они прекрасно понимали, что участь их собственных стран тесно связана с участью Советского Союза и что победа Гитлера на Востоке означала бы для них потерю независимости. На карту были поставлены все историческое будущее английского и американского народов и само существование Англии и США как великих мировых держав.

Заслугой Черчилля являются та ясность и решительность, с которыми он выразил чувства всего английского на-

рода уже в тот самый день, когда гитлеровские вооруженные банды вторгались на советские территории, а немецкие воздушные пираты без всякого предупреждения бомбили мирные советские города. «Опасность для России, — заявил он тогда в своей речи по радио, — является опасностью для нас и для США, так же, как дело каждого русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в любой части земного шара».

Это заявление не было пустой фразой. Английский народ не собирался быть равнодушным свидетелем гигантского поединка, завязавшегося на Востоке. 12 июля 1941 года было заключено советско-английское соглашение о совместных действиях в войне против Германии, положившее основу военному союзу между обеими великими державами, борющимися с международным разбоем гитлеровцев.

Немцев, надеявшихся, что англо-советское сотрудничество не пойдет далее платонических заявлений и останется мертвой буквой, вскоре должно было постигнуть разочарование. Содружество между обеими странами, к которому не замедлили присоединиться и США, продолжало крепнуть и развиваться с каждым днем: Англия и Америка оказали Советскому Союзу помощь в деле

снабжения его вооружениями. Важнейшими этапами развития этого содружества явились англо-советско-американская конференция, заседавшая в Москве 29 сентября—1 октября прошлого года, и декабрьские переговоры прибывшего в Москву английского министра иностранных дел А. Идена.

В своей речи по радио 10 мая 1942 года английский премьер-министр заявил: «В одном я уверен — в том, что английский народ, вступивший в настоящее боевое сотрудничество с нашим русским союзником, не отступит ни перед какими жертвами или испытаниями, которых может потребовать это товарищество».

С заключением 26 мая этого года в Лондоне англо-советского договора о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе отношения между обеими державами приняли характер прочного военного союза. Одним из важнейших следствий этого договора была достигнутая во время лондонских переговоров Народного Комиссара Иностранных дел СССР В. М. Молотова полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году. Такая же договоренность была достигнута между Советским Союзом и США во время последующего посещения товарищем Молотовым Вашингтона.

Лондонские и вашингтонские соглашения сорвали планы Гитлера на разъединение его противников и его расчеты на борьбу в одиночку с каждым из них. Именно на этих расчетах основывались все надежды гитлеровцев выиграть войну. Отныне Гитлеру приходилось считаться с тем, что против него борются объединенные силы самой мощной коалиции из всех тех, которые когда-либо знала история.

Но одно создание коалиции само по себе не предрешает еще исхода войны. Он зависит в огромной мере от согласованности стратегии союзников, от их решительных совместных действий и от быстрого использования создавшейся обстановки. «Нью-Йорк таймс» писал недавно: «Победа может быть обеспечена лишь в результате разумного плани-

рования и согласования действий мощных сил объединенных стран, помноженных на решимость добиться победы». Больше всего Гитлер страшится одновременного и сокрушительного удара всех сил союзников против его армий. Такой удар привел бы к катастрофическому военному разгрому Германии.

Трудно выбрать лучший и более благоприятный момент для такого удара, чем сейчас, когда гитлеровцы завязли в боях далеко на Востоке, когда немедленная переброска их основных сил на Запад означала бы для Германии военную катастрофу, когда западные оборонительные линии немцев оголены до последней крайности.

В свете этих обстоятельств приезд г. Черчилля в Москву и те переговоры, которые он здесь вел с главой советского правительства товарищем Сталиным при участии представителя президента США — г. Гарримана, а также руководящих представителей советской и английской армий, приобретают особое значение.

Текст совместного англо-советского сообщения, опубликованный по окончании этих переговоров, красноречиво свидетельствует о всей их первостепенной исключительной важности для дальнейшего хода войны.

«Был принят, — говорится в этом сообщении, — ряд решений, охватывающих область войны против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справедливую освободительную войну оба правительства исполнены решимости вести со всею силой и энергией до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании».

Понятно, что известие о переговорах английского премьер-министра в Москве и сам текст англо-советского сообщения восприняты с большим удовлетворением во всех союзных странах, где в этом событии видят, по выражению «Дейли Геральд», «шаг на пути к объединению стратегии союзных стран». В свою очередь английское министерство информации констатирует, что в Великобритании посещение г.г. Черчиллем и Гарриманом Москвы «приветствуется как крупный

шаг в области координации стратегии союзников».

Приезд г. Черчилля и результаты московских переговоров знаменуют новый важный этап в развитии боевого содружества борющихся с гитлеризмом наций.

★

Разгромив и заставив капитулировать Францию, Гитлер все же не добился осуществления своих конечных стратегических целей — вторжения на Британские острова, которое должно было явиться победоносным для немцев завершением войны в Западной Европе. Но он был уверен, что после полученных ударов Англия надолго выведена из строя, и надеялся воспользоваться этим временем для осуществления своих захватнических грабительских планов на Востоке.

Бросая свои армии против Советского Союза, он твердо рассчитывал, что война здесь будет «молниеносной» и легкой и закончится столь же стремительной и полной победой, как и во Франции.

Это позволило бы ему закончить в два-три месяца кампанию на советском фронте и вновь перебросить все свои силы на Запад, чтобы осуществить на этот раз то, что не удалось Гитлеру осенью 1940 года.

Однако война с Советским Союзом оказалась совсем не такой, как представлял ее себе Гитлер. Германская армия понесла в ней неисчислимые потери. Ряд сокрушительных ударов, которые нанесли ей советские войска, развеял миф о ее «непобедимости». В течение свыше четырнадцати месяцев все силы не только самой германской армии, но и большинства ее союзников-вассалов скованы на Восточном фронте, и Гитлер не может даже помышлять о переброске их на Запад.

Непредвиденная Гитлером затяжка войны на Востоке дала Англии длительную передышку. В то время как Советский Союз один принимал на себя всю тяжесть ударов чудовищной германской машины, на которую работала теперь вся европейская промышленность, и перемалывал в непрерывных ожесточенных

боях немецкую технику и живую силу, Англия и США получали возможность вооружаться без помех и создать мощные армии для будущего наступления на Германию. При огромном военно-промышленном потенциале англо-саксонских стран, при тех высоких темпах, которыми работают сейчас английские и американские военные предприятия, наши западные союзники уже и теперь способны нанести Германии решающий удар и положить начало ее военному разгрому.

Немцы отдают себе в этом ясный отчет. Не имея возможности начать переброску своих сил на Запад и вынужденные, наоборот, все более и более сокращать там свои гарнизоны, посылая на советский фронт стоявшие там ранее дивизии, танки, авиацию, они возлагают свои последние надежды на колоссальный блеф, стараясь уверить противника, что их оборонительные линии в Западной Европе, и в частности на франко-бельгийском побережье, являются неприступными. Германская пропаганда подозрительно легко выбалтывает о миллионах тонн железобетона, пошедшего на строительство прибрежных укреплений, сотнях тысяч работавших над их возведением рабочих, о густоте береговых батарей. Не особенно давно английская воздушная разведка установила, что некоторые из немецких аэродромов во Франции являются простой бутафорией и заполнены искусными макетами самолетов. Не исключена возможность, что и часть тяжелых орудий, жерла которых так грозно поглядывают на Ла-Манш, являются продуктом не сталелитейного, а деревообделочного мастерства.

Вполне понятно, что вторжение в Европу требует серьезной подготовки и наличия больших людских и технических сил. Но эта оттяжка вторжения представляет и свои опасные стороны. Пока не создан второй фронт, Гитлер имеет возможность сосредоточить все свои силы против одного из противников, а это и является главной задачей его стратегии. Миллионы людей в Англии и Америке ясно представляют себе, что всякая дальнейшая отсрочка наступления играет на руку Гитлеру и что если за это время на-

шим союзникам удастся накопить и сосредоточить еще большее количество мощной военной техники, она не сможет компенсировать упущение самого благоприятного момента для нападения. Вот почему в течение последних недель общественное мнение, широчайшие народные массы Англии и Америки требуют от своих правительств немедленно приступить к действиям. Помимо стремления облегчить положение своего советского союзника, в течение свыше четырнадцати месяцев несущего всю тяжесть войны, англичане и американцы руководятся весьма реальным соображением, что вторжение на европейский континент сейчас, в тот момент, когда все немецкие силы скованы далеко на востоке, потребует от них значительно меньше жертв, чем тогда, когда Гитлеру удастся перебросить хоть часть своих сил на Запад.

Огромные митинги, на которых представители всех слоев населения требуют немедленного создания второго фронта, происходят в последнее время во всех городах Англии и Америки. Профессора и студенты, моряки и железнодорожники, государственные служащие, учителя и рабочие Сан-Франциско, Нью-Йорка, Детройта, Нового Орлеана, Лондона, Эдинбурга и других городов настаивают в один голос на срочном выступлении против гитлеровской Германии. Тысячи английских и американских газет изо дня в день доказывают необходимость не дожидаться полного окончания приготовлений, а приступить к немедленным военным действиям широкого масштаба.

Американский журналист Форбс пишет в «Нью-Йорк джорнэл энд америкэн»: «Для населения непонятно, почему происходит задержка, почему огромная сухопутная армия Англии и численно возрастающие американские вооруженные силы в Европе остаются в бездействии».

«Войны не выигрываются людьми, мысли которых полны предчувствий провала, — справедливо указывает в лондонском «Санди экспресс» Гордон. — Войны выигрываются людьми, вступающими в борьбу с решимостью сделать

провал невозможным». В той же газете Гарвин правильно резюмирует опыт нынешней войны: «Время в этой войне работает против медлительных». «Разум требует нанесения удара на Западе, — пишет «Эроплейн», — в то время, как немцы глубоко завязли в России».

Движение за немедленное создание второго фронта приобретает все более мощный и широкий характер. «Институт общественного мнения» в Америке констатировал в результате последних выборочных опросов среди самых различных слоев населения, что подавляющее большинство американских избирателей высказывается за немедленные активные действия. Наступления требуют и солдаты американской армии. «Мы пришли в армию, чтобы сражаться, — пишет один из них в армейской газете «Янк». — Скажите же, ради бога, когда мы будем воевать».

Движение за немедленное открытие второго фронта бурной волной разлилось и в Канаде, и в Мексике, и в Австралии. Англо-американского наступления в Европе с огромным нетерпением ждут все поработанные Гитлером народы, готовые с оружием в руках выступить против своих угнетателей, как только английская и американская армии появятся на континенте.

Это огромное народное движение, выражающее чаяния, надежды и стремления миллионов людей, не может не оказать влияния на решение союзных правительств.

★

Накануне первой мировой войны в кругах пангерманистов пользовалась особой популярностью брошюра, озаглавленная «Германия начала XX века». В этой брошюре, между прочим, содержалась следующая фраза: «Нам нужно место в Европе. Это следствие нашего естественного развития, и мы были бы не правы, если бы отступили перед чрезвычайными требованиями необходимости. Правда, мы создаем таким образом новое международное право и новый закон войны. Но в наше время, когда война бывает только раз в пятьдесят лет, можно

прекрасно изменять всякий раз международное право, то-есть развивать его в том направлении, которое нам полезно. Вообще, мы считаем, что в будущем тот, кто будет начинать войну, должен будет руководствоваться своими собственными интересами, а не так называемым международным правом. Было бы хорошо, если бы действовали, не останавливаясь ни перед какими соображениями и нисколько не беспокоясь об общественном мнении... Чем чаще будет безжалостно применяться принцип *Vae victis**, тем надежнее будет заключенный мир. В древности побежденный народ уничтожался; сейчас нельзя уничтожить его физически, но можно придумать условия, которые были бы равнозначными уничтожению».

Кайзеровской Германии нехватило пушечного мяса, чтобы осуществить эту каннибальскую программу. Но гитлеризм, являющийся высшим, доведенным до *plus ultra* завершением старого германского империализма, планомерно проводит в жизнь те условия, придумать которые считали необходимым пангерманисты. Условия эти помпезно окрещены гитлеровцами «новым порядком в Европе».

За два с лишним года своего хозяйничанья в Европе гитлеровцы наглядно показали, как они мыслят себе этот «новый порядок». Впрочем, еще ранее Гитлер нарисовал картину будущей организации покоренных Германией народов. «Это будет федерация, — писал он, — но ее члены не будут, конечно, равноправны с немцами. Союз второстепенных народов, не имеющих армий, не ведущих собственной политики, не имеющих собственной экономики, — вот в чем будет эта федерация».

Эта программа неуклонно проводилась гитлеровцами в отношении каждого государства, имевшего несчастье тем или иным путем очутиться во власти немцев. Не удивительно поэтому, что с тех пор, как Гитлер вторгся

в Европу, борьба поработенных народов против захватчиков не прекращалась ни на минуту и принимала все более острый и бурный характер.

Эта борьба носит в поработенных странах разные формы, начиная от тайного сплочения национальных сил, подпольной подготовки к массовым вооруженным действиям, отдельных актов народной мести, саботажа и диверсии, вплоть до широких партизанских движений, выливающих, как, например, в Югославии, в настоящие военные действия крупного масштаба против армий оккупантов. Покамест еще трудно усмотреть какую-либо связь между отдельными очагами сопротивления в Европе. Но многочисленные симптомы указывают на приближение часа, когда вся Европа сольется в едином мощном взрыве против своих угнетателей и палачей.

В подготовке европейского выступления против гитлеровской Германии особую роль должна сыграть Франция.

Еще недавно она была одной из самых сильных держав мира. Несмотря на все те бедствия, которым подверг ее Гитлер, ее жизненные силы далеко не иссякли. Ее огромные заморские владения находятся вне пределов досягаемости оккупантов. Несмотря на все усиливающийся немецкий нажим, страх перед стихийным народным восстанием и возможностью отложения империи не позволил покорному воле Гитлера правительству Виши передать Германии довольно значительные остатки французских вооружений и в первую очередь военноморской флот. Французский народ не может забыть своего славного исторического прошлого и примириться с превращением великой Франции в германскую колонию, жалкий аграрный придаток третьего Рейха, источник продовольствия, сырья, рабочей силы и пушечного мяса для «арийских господ». Особое географическое и стратегическое положение Франции предназначает ей роль одного из важнейших участков будущего театра военных действий в Европе и придает исключи-

* Горе побежденным (лат.).

тельное значение ее участию в вооруженной борьбе европейских народов против гитлеровской Германии.

Немцы отдают себе ясный отчет, какую грозную потенциальную опасность представляет для них даже почти безоружная, поставленная под дула их пулеметов и орудий Франция. В продолжение всего периода после ее разгрома и капитуляции они делали все возможное, чтобы ликвидировать эту опасность. Введя страшный террор в подвластной им непосредственно оккупированной зоне, они заставили своих верных слуг в Виши распространить этот террор и на неоккупированную Францию. Они тщательно заботились, чтобы все управление страной находилось в руках их прямых платных агентов. Как ни покорно выполняло волю Гитлера правительство Петэна—Дарлана, он заставил передать всю полноту власти матерому предателю Лавалю. Но даже и после этого, опасаясь как бы Лаваль не струсил перед размахом патриотического движения во Франции, гитлеровцы держат наготове чистокровных апашей—Дорио и Деа, угрожая заменить ими Лаваль при первом же его колебании.

Прибрав к рукам государственную власть во Франции, гитлеровцы лихорадочно работают над экономическим разрушением страны.

Ряд соображений не позволяет немцам уже теперь полностью ликвидировать всю французскую промышленность. Часть французских предприятий работает на военную машину Гитлера. Их перенос в Германию связан с непреодолимыми трудностями и заставил бы на несколько месяцев отказаться от их продукции, которая до зарезу необходима сейчас немецкой армии, несущей колоссальные потери в технике. Поэтому Гитлеру приходится временно мириться с существованием и работой этих предприятий на французской территории. Зато основная масса французских фабрик и заводов, не работающих на Германию, закрыта либо по прямому требованию немцев, либо в результате лишения их оккупантами сырья, рабочей силы и оборотных ка-

питалов. Оборудование этих предприятий скупается за бесценок немцами и вывозится в Германию. Но и работающие предприятия находятся сейчас или в руках самих немцев, или же под их контролем.

В конце прошлого года все основные французские красочные предприятия, в том числе пользовавшиеся мировой известностью заводы «Кюльман» в Сен-Дени, были картелированы под названием «Франколор», и 51 проц. акций нового общества немедленно приобретены знаменитым концерном немецкой химической промышленности «И. Г. Фарбениндустри». Двадцать крупнейших французских текстильных фабрик были слиты под немецким контролем в картель «Франс Рейонн». Концерн «Герман Геринг» приобрел большое число французских заводов «Шнейдер Крезю» и т. д.

В течение двух лет немцы лихорадочно скупали акции всех значительных и прибыльных французских предприятий не только промышленных, но и транспортных, кредитных, страховых, торговых и пр., пользуясь стеснительным положением владельцев. Надо добавить, что скупка эта производилась на французские же деньги.

По условиям перемирия, Франция согласилась платить победителям по 400 миллионов франков в день «на содержание оккупационной армии». Однако даже в первые месяцы после прекращения военных действий, когда численность оккупационных войск, наблюдавших за французским разоружением и готовившихся к вторжению в Англию, достигла внушительных цифр, действительные расходы по содержанию этой армии не превышали 125 миллионов франков в день.

Таким образом, на этой «выгодной сделке» гитлеровцы получали ежедневно 275 миллионов франков чистой прибыли, что составило к маю 1942 года «скрытую» сумму в 99 миллиардов франков.

В мае этого года, добившись от Дарлана выдачи им на 5 миллиардов золотых франков иностранных ценностей, хранившихся во французских

банках, немцы «милостиво» согласились снизить сумму ежедневных платежей до 300 миллионов франков в день. Но так как численность их оккупационной армии к этому времени значительно сократилась, получаемый ими с французов чистый доход уменьшился весьма не на много. В общей сложности надо считать, что, помимо полного содержания своей оккупационной армии за французский счет, немцы получили с Франции за эти два с лишним года чистоганом свыше двухсот миллиардов франков — сумму, значительно превышающую годовой национальный доход Франции в довоенное время. На эти-то деньги и скупались акции французских предприятий, оплачивались французские военные поставки, выкачивалось продовольствие, сырье, необходимое для Германии промышленное оборудование. Этот грабёж среди бела дня продолжается и сейчас. Все крупные германские банки потащивали во Франции свои агентства и отделения, финансируя работу французских предприятий на Германию, а также скупку немцами всего того, что еще осталось в стране ценного. В результате, если этот процесс будет продолжаться еще некоторое время, Франция окажется перед угрозой полного превращения в государство колониального типа.

Ликвидируя французскую индустрию, гитлеровцы одновременно стремятся лишить Францию и квалифицированной рабочей силы. По окончании военных действий в германских лагерях очутилось около двух миллионов французских военнопленных. Эти пленные в течение двух лет были для гитлеровцев великолепным средством шантажировать Францию и добиваться от нее самых тяжелых уступок. При этом каждый раз немцы отпускали небольшую партию больных, раненых и других нетрудоспособных пленных, а Петэн и его министры умилялись немецкому «благородству» и «доброму расположению» к Франции. Однако и сейчас, когда после французской капитуляции прошло свыше двух лет, в Германии томятся 1 300 000 французских

пленных, в большинстве — крестьяне, без которых страдает сельское хозяйство Франции. Это позволяет Гитлеру возобновить свой шантаж. Он готов отпустить несколько сот тысяч пленных крестьян, но при условии присылки ему из Франции соответствующего количества квалифицированных рабочих-металлистов.

За этим грубым домогательством скрывается не только желание получить высококвалифицированную рабочую силу, в которой так нуждается германская военная промышленность и которую нельзя достать более ни в одной стране Европы, но и стремление заставить французских рабочих работать в крепостных условиях. Гитлеровцы видят в своем домогательстве верное средство посеять раздор в среде французского народа. Действительно, население деревень крайне заинтересовано в скорейшем освобождении военнопленных крестьян. Семьи последних с нетерпением ожидают возвращения своих близких и кормильцев. И вот оказывается, что препятствием к этому является нежелание городских рабочих ехать на гитлеровскую каторгу. Немцы надеются, что возмущение французского крестьянства примет такие формы, при которых будет исключена возможность объединения национальных сил против поработителей. Кроме всего прочего, они рассчитывают, что изъятие из городов наиболее активных и сплоченных антифашистских элементов облегчит им покорение Франции и ослабит угрозу массовых вооруженных выступлений рабочих. К последнему доводу весьма чувствительно и правительство Виши, которое видит в наличии крупных рабочих масс в городах серьезную опасность для своего собственного существования. Вот почему Лаваль с восторгом договорился с Гитлером об отправке в Германию нескольких сот тысяч французских рабочих. Он не хуже гитлеровцев использует все средства нажима, чтобы выполнить это соглашение. Он лично возглавляет управление по делам снабжения Германии французской рабочей силой. Вернувшись недавно из очередного паломни-

чества «пред светлые очи» своего хозяина, он выступил с речью, в которой призывал рабочих ехать в Германию, дабы обеспечить Франции место в «новой Европе».

Однако все усилия как самих немецких оккупантов, так и правительства Виши терпят полное фиаско. В крупнейших индустриальных центрах Франции, как Лион, Марсель, Лимож и др., на поездку в Германию записалось едва по несколько сот рабочих. Из 10 000 железнодорожников, которым было предложено ехать в Германию, дали согласие... 10 человек. В общей сложности число рабочих, согласившихся ехать работать к немцам, едва достигает 1 проц. того количества, которого требует Гитлер. Само по себе это поведение рабочих является уже серьезной демонстрацией против немцев и покорного им правительства Виши.

Разочаровавшись в своих надеждах получить путем обмена на военнопленных необходимую рабочую силу, гитлеровцы изобрели новый план. Они договариваются сейчас с Лавалем о массовом закрытии всех французских промышленных предприятий, не работающих на Германию. Часть этих предприятий будет перенесена в Германию со всем личным составом и запасами сырья. Решено ликвидировать даже те угольные шахты, которые работают восемь месяцев в году. Немцы считают это «расточительством рабочей силы» и надеются при помощи закрытия шахт заставить рабочих перебраться в Германию, где они будут работать круглый год.

Все эти мероприятия, конечно, лишь обостряют до крайности ненависть французского народа к своим угнетателям. Борьба с оккупантами принимает все более массовый характер. В некоторых районах Франции началось настоящее партизанское движение. 14 июля, в годовщину взятия Бастилии—национальный праздник гильотинированной Петэном (Французской Республики)—сотни тысяч французов вышли на улицы Лиона и Марселя, Тулузы и Лиможа, Клермон-Феррана и Виши

с пением Марсельезы. Это была мощная демонстрация против гитлеровских захватчиков и предателей из Виши. С особым чувством воодушевления демонстранты пели:

К оружию, граждане, к оружию!
Формируйте батальоны!

В поход, в поход! Пусть нечистая кровь
напит наши нивы!

Этот грозный призыв вновь обрел, как и сто пятьдесят лет тому назад, при рождении Марсельезы, весь свой глубокий смысл. Французский народ твердо выражал свою волю расправиться с захватчиками и заставить их заплачивать кровью за все чудовищные преступления против Франции. Недалом Лаваль приказал своим полицейским стрелять в мирные толпы, поющие французский национальный гимн, а Гитлер требует от правительства Виши полного запрещения Марсельезы.

Согласно недавнему сообщению генерала де Голяя, во Франции насчитывается сейчас до шестидесяти нелегальных органов печати, вокруг которых группируется огромное количество французских патриотов. Более того, несмотря на режим дикого террора как в оккупированной, так и в неоккупированной зоне, французский народ организует подпольную армию, численность которой уже превышает 50 000 человек.

После разгрома и капитуляции Франции значительное число французских патриотов покинуло страну, чтобы организовать борьбу за ее освобождение вне пределов досягаемости оккупантов и вишистских предателей. Большинство из них направилось в Англию, где был создан возглавляемый генералом Шарлем де Голлем «Национальный Комитет Свободной Франции». Национальный комитет ставил своей задачей сплотить всех французов, не мирившихся с капитуляцией, и создать новую французскую армию для продолжения войны с Германией.

Многие французские воинские части, находившиеся вне метрополии, а также ряд французских заморских владений примкнули к движению. К числу этих владений относятся: Французская

Центральная Африка, Камерун, острова: Новая Каледония, Ново-Гибридные, Таити, Сен-Пьер и Микелон и др. Позже к Свободной Франции присоединились освобожденные англо-французскими войсками Сирия и Ливан, а еще позже — Мадагаскар и Комморские острова.

Пока еще небольшая численно, но одушевленная горячим патриотизмом армия де Голля приняла участие в ряде военных действий против сил держав «оси», показав свои высокие боевые качества. В частности, в прошлом году, совершив исключительно трудный поход через песчаные пустыни экваториальной Африки, французские отряды с боем заняли важный стратегический пункт в южной Ливии — оазис Мурзук. Они с успехом принимали совместно с англичанами участие в операциях в Восточной и Северной Африке.

Однако все деголлевское движение сосредотачивалось главным образом за пределами Франции. После капитуляции во Франции царил глубокая депрессия. Многие французы не верили в возможность возобновления открытой вооруженной борьбы с Германией. Вся свора капитулянтов и изменников усилению убеждала французский народ, что германская армия «непобедима» и что спасение надо искать лишь в смиренном подчинении власти Гитлера.

С той поры французский народ убедился, к каким страшным последствиям и кровавым жертвам ведет «непротивление» Гитлеру, а война на советском фронте развеяла миф о «непобедимости» германской армии. Все это послужило решительным стимулом для организации борьбы с оккупантами в самой Франции. По мере того, как ширилось это движение и подпольные организации принимали массовый характер, усиливался контакт и связь между движениями внутри страны и за ее пределами. Вот почему 14 июля этого года «Национальный Комитет Свободной Франции» решил изменить свое название и переименоваться в «Национальный Комитет Сражающейся

Франции», поскольку он будет объединять не только французов и французские территории, освободившиеся из-под власти правительства Виши, но также всех французских патриотов, ведущих борьбу на территории самой метрополии.

Движение «Сражающейся Франции» является авангардом французского народа. Дело освобождения и спасения Франции зависит от того, насколько широко и смело все французы поддерживают это движение. Ближится момент, когда дружное выступление всех поработанных народов Европы может стать смертельным ударом для гитлеровской Германии. Французы должны понять, что история ставит перед ними грозный вопрос «быть или не быть». От их ответа зависит — вернется ли Франция к своему состоянию великой, независимой, мировой державы, или же она станет жалкой колонией третьего Рейха. Третьего выхода нет. Все великое историческое прошлое французов говорит за то, что они никогда не согласятся стать рабами тевтонских варваров. Но это обязывает их быстрее готовиться к борьбе.

Сто пятьдесят лет тому назад в статье «Друг народа — французским патриотам» Марат писал: «Бойтесь, трепещите упустить единственный предоставленный гением-хранителем Франции случай — выйти из бездны и упрочить свободу».

Призыв этот, прозвучавший на следующий день после свержения французской монархии, когда отечество было в опасности и австро-прусские полчища рвались к сердцу Франции, приобретает сейчас вновь свою актуальность. 20 сентября 1792 года французские патриоты ответили на призыв Марата грозной канонадой пушек Вальми, заставившей отступить заваленных, считавшихся «непобедимыми» ветеранов Фридриха II. Сопровождавший прусские войска Гете сказал тогда знаменитую пророческую фразу: «Сегодня открывается новая эра в истории человечества».

«Сражающаяся Франция» должна повторить Вальми, чтобы навсегда изба-

виться от кровавого кошмара гитлеризма и возродить великую, свободную Францию. Разгром гитлеровской Германии, подобно Вальми, откроет собою новую эру в истории человечества.

★

До войны Югославия была самым крупным и самым сильным государством на Балканах. Она являлась существенным фактором европейского равновесия, так как совместно с другими странами юго-восточной Европы, связанной с ней пактами Малой и Балканской Антант, сдерживала ревизионистские устремления Венгрии и Болгарии и вместе с тем была барьером против итальянской экспансии на Балканском полуострове. Понятно поэтому, что, подготавливая новую мировую войну, итало-германские агрессоры заранее строили планы расчленения и уничтожения Югославии.

Предательская политика подкупленного гитлеровцами правительства Цветковича облегчала державам «оси» их задачу. Правда, накануне итало-германского нападения на Югославию это правительство было свергнуто возмущенным югославским народом. Но было уже поздно. Измена и действия «пятой колонны» дезорганизовали югославскую оборону.

Чтобы легче и быстрее сломить сопротивление Югославии, немцы привлекли к участию в нападении Венгрию и Болгарию, прельстив их перспективой наживы за счет югославских территорий и угрожая в случае отказа поступить с ними так же, как и с Югославией. В апреле — мае 1941 года югославская армия была разбита, главные городские центры Югославии заняты. Правительство вынуждено было покинуть страну.

Победители принялись немедленно делить завоеванную добычу. Италия захватила себе все Адриатическое побережье с портами, составлявшими единственный выход Югославии к морю. На долю Венгрии пришлось северные области. Болгария взяла себе значительную часть Македонии. Но

хищники не удовлетворились этим. Они вывели из состава Югославии Хорватию и посадили там марионеточное правительство во главе со своим старым агентом — террористом Анте Павеличем, приговоренным в 1935 году французским судом к гильотине за организацию убийства короля Александра и французского министра Барту и укrywшегося после этого под гостеприимным крылышком Муссолини.

Гитлеровцам казалось, что с Югославией покончено раз и навсегда. Однако последующие события заставили их горько разочароваться в этих надеждах.

Югославия была разбита, но не прекратила сопротивления. Если большая часть ее армии была взята в плен или разоружена, то отдельные части не сложили оружия и продолжали борьбу в неприступных горных дебрях Далмации, Черногории, Боснии, Сербии. В момент нападения на Югославию немцы, по своему обыкновению, применяли самые варварские, самые бесчеловечные методы «тотальной войны»: они бомбили и сжигали беззащитные города и местечки, тысячами истребляли мирных жителей. Это вызвало такой взрыв ненависти во всем югославском народе, что население целых районов взялось за оружие и начало партизанскую борьбу с оккупантами. Несмотря на зверские карательные меры, массовые расстрелы заложников, сожжение и уничтожение целых населенных пунктов, это движение ширилось, разрасталось, принимало невиданные размеры. Ушедшим в горы военным частям и населению удалось укрыть от оккупантов крупные запасы оружия и боеприпасов. Остальные военные материалы, чтобы они не достались захватчикам, югославские патриоты подвергли уничтожению. Так были взорваны огромные центральные базы оружия и боеприпасов в Смедерове, вблизи Белграда. Были разрушены в Краleve, Рогатице, Ново-Саде все имевшиеся в Югославии авиационные заводы. Был выведен из строя крупный центр военной промышленности в Крагуеваце, где производились пушки, пулеметы, ружья,

снаряды, а также ряд других предприятий добывающей и обрабатывающей металлургической промышленности, как - то: алюминиевые заводы в Шибенике, медные рудники Бора и т. д.

За пятнадцать месяцев оккупации немецкие, итальянские и венгерские военные силы в Югославии понесли огромные потери. Им приходилось выдерживать настоящие крупные сражения, чаще всего заканчивавшиеся их полным разгромом. В последние месяцы партизанское движение приняло в Югославии такие размеры, что захватчики по существу держатся лишь в крупных городах, да и то находясь там в осаде, а целые районы страны полностью очищены от оккупантов. Города Коница, Крешево, Любушки, Присдор, Горни-Вакуф, Прозор, Гланач, Вргорац и другие заняты партизанами. Важнейшие стратегические дороги вдоль Далматского побережья и внутри страны находятся под контролем югославских патриотов. Итальянцы и немцы, вынужденные признать свое шаткое положение в Югославии, сылаются главным образом на трудности горной местности, способствующие партизанской борьбе. Но борьба ведется не только в горах. Она давно уже перекинулась и на равнины. Дело совсем не в географических условиях Югославии, а в беспредельной стойкости, храбрости и ненависти к захватчикам югославского народа, решившие скорее умереть, чем примириться с порабощением своей родины.

★

Рано утром 19 августа крупные союзные силы предприняли внезапный рейд на французское побережье в районе Дьеппа. В этом рейде участвовали английские, американские и канадские войска, а также отряды «Сражающейся Франции». Выполнив поставленные задачи, союзники вновь погрузились на корабли и вернулись в Англию.

Английские войска уже и раньше производили диверсионные и разведывательные вылазки на французском по-

бережья, но впервые рейд был произведен в столь крупном масштабе.

Операция производилась с участием тяжелых танков, привезенных на десантных судах, и крупных соединений авиации, поддерживавшей действия наземных войск. В воздухе разгорелись бои таких размеров, каких не было на Западе с момента «воздушного штурма» Англии в сентябре 1940 года. Количество союзных самолетов было так значительно, что немцы вынуждены были стянуть воздушные подкрепления со всего франко-бельгийско-голландского побережья.

В самом начале высадки англичане оповестили по радио население Франции, что дело идет не о настоящем вторжении, а лишь о краткосрочном набеге. Это было сделано с целью избежать преждевременного выступления французских патриотов, которое немцы не замедлили бы затопить в крови.

Смертельно перепуганные немцы, полагавшие вначале, что дело идет о высадке целой армии, поспешили сейчас же по окончании рейда изобразить дело так, как будто им удалось отразить настоящее вторжение. Понятно, эти лживые измышления могут вызвать только смех, ибо если бы дело шло о настоящем открытии второго фронта, союзные войска продолжали бы прибывать и штурмовать немецкие линии, а кроме того, высадка производилась бы, конечно, не на одном ограниченном участке побережья.

Что бы ни говорили немцы, дьеппский рейд имеет важное значение для предстоящих широких наступательных операций англо-американской армии. Он показал, что высадка войск и тяжелой техники даже в местах, где нет крупных портовых сооружений, вполне возможна и что германские оборонительные линии являются далеко не такими неприступными, как это стремятся изобразить немцы. Он позволил выяснить методы и систему немецкой обороны, определить, откуда и какими путями гитлеровцы стягивают свои резервы. Наконец, во время рейда были уничтожены важные военные объекты противника,

в том числе радиопеленгаторная станция, батареи, склады боеприпасов и т. д.

В ходе операций было еще раз проверено и подтверждено на крупном опыте союзное превосходство в воздухе и разведана немецкая система воздушной обороны.

По сообщению штаба комбинированных сил союзников, «рейд был крупной разведывательной операцией и составляет важный элемент приня-

той союзниками наступательной политики».

Нет сомнения, что дьеппский рейд представляет весьма важную операцию с точки зрения предстоящего создания второго фронта. Он явился «миниатюрным вторжением» и подтвердил союзному командованию, что форсирование Ла-Манша, и высадка крупных сил во Франции является вполне реальной и осуществимой задачей.



Н. Г. Чернышевский и родина

И. НОВИЧ

★

На всю нашу страну громко прозвучало имя одной из замечательных дочерей советского народа — восемнадцатилетней девушки Зои Космодемьянской — «Тани».

Бесстрашная партизанка, она совершила подвиг мужества, стойкости и патриотизма, который войдет в историю, подвиг, в котором ярко отразились духовная красота и мощь породившего ее народа.

Среди деталей биографии героини хочется отметить ее любовь к русской литературе.

Героическое прошлое народа, запечатленное в творениях Пушкина, Гоголя, Толстого, Белинского, Чернышевского, Герцена, Некрасова, было всегда перед мысленным взором Зои. Под влиянием родной русской литературы формировался ее характер. Она переписывала в свой дневник мысли Толстого, Чернышевского, Чехова, Горького.

«Ее пленял, — сообщает автор брошюры о «Тане»¹, — трагический путь Чернышевского и Шевченко, и она мечтала подобно им послужить святому народному делу».

Так в Великой Отечественной войне наш народ вдохновляют и мужественные образы великих предков, прославивших грозное русское оружие, и образы гениальных русских писателей прошлого, а среди них Н. Г. Чернышевского.

В эпохи бурных общественных стрем-

лений и особенно в период народной борьбы за свободу жизнь порождает замечательные образцы героического патриотизма.

О деятельности Н. Г. Чернышевского можно сказать его собственными словами, адресованными им критике «гоголевского периода русской литературы», критике Белинского: «...любовь к благу родины была единственной страстью, которая руководила им. Каждое явление жизни, науки, искусства он ценил по тому, какое значение имело это явление для русской жизни. Эта идея — пафос всей его деятельности. В этом пафосе и тайна его величия».

Одним из великих образцов настоящей любви к родине всегда был для Ленина гениальный русский просветитель — революционер-демократ, философ, экономист, литературный критик, писатель Николай Гаврилович Чернышевский.

Ленин поднял имя Чернышевского как символ великорусской демократической культуры.

И. В. Сталин, говоря недавно с великим гневом о фашистских варварах, посягающих на честь и независимость нашей родины, среди лучших из лучших представителей русского народа, — мыслителей, ученых, писателей, художников, полководцев, — назвал в имя Чернышевского.

Чернышевский вырос на почве всего лучшего, что рождала до него передовая русская мысль, на почве крупнейших достижений западноевропейской

¹ П. Лидов. «Таня». Госполитиздат, 1942.

передовой мысли, на почве могучего порыва самих народных масс к свободе. И если кратко определить все содержание, весь исторический смысл деятельности Чернышевского, то его нельзя определить иначе, как словами: любовь к родине.

Любовь к родине и желание блага русскому народу были страстью души Чернышевского.

С этой страстью Чернышевский входил в сознательную жизнь в свои молодые годы, с этой страстью он достиг расцвета своего гения на гребне общественного подъема в России шестидесятих годов. И все с той же думой о благе родины Чернышевский заканчивал свою драматическую жизнь.

★

В середине сороковых годов XIX столетия юный Чернышевский приехал из Саратова в Петербург. Он был полон мечтаний о служении науке, искусству, литературе. И уже в самые молодые годы все его стремления обращены к родине. Под знаком этих стремлений идейно рос и формировался Чернышевский.

Его волнует вопрос о том, что внесли русские люди в науку и что внесла наука в жизнь русского народа. И вот письмо восемнадцатилетнего юноши Чернышевского, обеспокоенного призванием своей родной страны: «... Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1 500 000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захочем? Жалко или нет бытие подобных народов? Беша и быша, яко же не бывше. Прошли, как буря, все разрушили, сожгли, полонили, разграбили и только. Таково ли наше назначение? Быть всемогущими в политическом и военном отношении и ничтожными по другим, высшим элементам жизни народной? В таком случае лучше вовсе не родиться, чем родиться русским, как лучше вовсе не родиться, чем родиться гунном, Аттилою, Чингисханом, Тамерланом или одним из их воинов и подданных»...

«...нет, не завоевателями и грабителя-

ми выступают в истории политической русские, как гунны и монголы, а спасителями — спасителями и от ига монголов, которое сдержали они на мощной вые своей, не допустив его до Европы, быв стеной ей... ..и другого ига — французов и Наполеона.

Спасителями, примирителями должны мы явиться и в мире науки и веры. ...Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую, выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни — науке, как сделала она это уже в одном — жизни государственной и политической. И да совершится через нас хоть частью это великое событие! И тогда не даром проживем мы на свете; можем спокойно взглянуть на жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и возжеленнее этого?»¹.

Это письмо — первое изложение взглядов молодого Чернышевского. Можно сказать, что с этих слов раннего письма начинается история Чернышевского-мыслителя.

В ранних взглядах Чернышевского всё полно глубокого значения: и признание огромного военного могущества родной страны, и мысль о том, что назначение родного народа быть всемогущим во всех элементах жизни, и замечательно верная мысль о том, что Россия выступила в свое время спасительницей Европы от монгольского ига, не допустив его до Европы, как стена, сдержав его и от Наполеона; и предчувствие великой культурно-исторической миссии родного народа, и горячее стремление принять участие в новом культурном и политическом расцвете родной страны, содействовать ее благу и ее вечной славе.

О силе и твердости убеждений Чернышевского уже в этот начальный пе-

¹ Н. Г. Чернышевский. «Литературное наследие», т. II, стр. 44.

риод его умственной жизни дает представление запись в дневнике двадцатилетнего Чернышевского (в 1848 году): «...я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют и... даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убежден»¹.

Так начинается в истории русской общественной мысли, в истории русской революции, в истории русской литературы Чернышевский.

Чернышевский был великим гуманистом. Его материалистическая философия проникнута духом гуманизма. В своей этической теории он исходил из блага и интересов человека. Его экономическая теория была направлена к защите интересов трудящихся. Все его мировоззрение проникнуто единым принципом: «Чтобы всем было хорошо».

В статье «Экономическая деятельность и законодательство» он определил свой «моральный кодекс»: «Справедливо, — пишет он, — то, что благоприятно правам человеческой личности; всякое нарушение их противно справедливости»².

Важнейшую черту мировоззрения Чернышевского составляет его критика распространенной в буржуазной науке того времени экономической теории Мальтуса. Она, как известно, гласила, что коренной источник общественных бедствий лежит в самой природе: она производит столько нищеты в обществе, что лишние люди должны истребляться.

Естественно, что гуманист Чернышевский, объяснявший все зло жизни неудовлетворительностью общественных отношений в собственническом мире, восстал против мальтусовой теории, перекладывавшей ответственность за социальное зло с общества на природу.

¹ Н. Г. Чернышевский. «Литературное наследие», т. I, стр. 343.

² Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 462.

Гуманист и социалист Чернышевский не хотел и не мог принять архибуржуазную теорию, убеждавшую, что если в обществе бедствовало и погибало много людей от неустойчивости общественных отношений, то бедствующие и погибающие и не могут избежать гибели, ибо их уничтожает сама природа. Не «перенаселение», а господствующие общественные отношения между людьми порождают зло, — утверждал Чернышевский.

Гуманист Чернышевский был защитником идей просвещения и свободы народных масс. Главной силой исторического развития он считал умственный прогресс общества. Для него задача всех задач общественного устройства заключалась в том, чтобы «один класс не сосал кровь другого».

Сын и патриот своего народа, Чернышевский был интернационалистом. Он признавал права наций на самоопределение, протестовал против угнетения одной нации другой нацией, защищал национально-освободительные движения народов во всех странах. Он писал: «Удерживать в своей зависимости чужое племя, которое негодует на иноземное владычество, не давать независимости народу... потому, что это кажется полезным для военного могущества и политического влияния на другие страны — это гнушно»¹.

Весьма важно указание Чернышевского, что нация, попирающая для своей выгоды общечеловеческие интересы, в результате всегда сама терпит бедствия.

И, конечно, гуманист Чернышевский горячо протестовал против заявивших о себе уже тогда «расовых теорий».

Он доказывал, что все расы людей равны между собой по своим природным умственным и нравственным качествам. Он отстаивал теорию единства человеческой природы. «Расовые теории» Чернышевский называл «пустыми фантазиями самохвальства» и продуктом антинаучного невежества. Важно социальное, а не расовое деление людей

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 48.

в обществе. И Чернышевский гневно обличал современных ему «расистов». Чернышевский приводил распространенную тогда характеристику национального немецкого типа. «Самой важной, самой существенной особенностью наружности, — иронически писал Чернышевский, — выставляется светлый цвет волос; немец, это человек с русыми волосами; немцы с темными волосами — люди не национального немецкого типа... Итальянцы и французы, — продолжает Чернышевский, — взяли предметом насмешки светлые волосы многих немцев: русые люди, — считали итальянские и французские расисты, — пухлые, золотушные, неуклюжие, и ум у них неповоротливый... Но немцы не оставались в долгу: французы и итальянцы, — доказывали они, — люди легкомысленные, непостоянные, вероломные; это потому, что темперамент у них холерический: а у людей с холерическим темпераментом, вообще, черные волосы; мы, немцы, не таковы; мы люди рассудительные... потому мы люди добросовестные... и темперамент у нас не такой, как у легкомысленных, вероломных французов и итальянцев...» Все эти расовые теории, указывает Чернышевский, «не пригодны ни к чему, кроме брани и самохвалства, и применение этого житейского вздора к истории дает в результате исторический вздор»¹.

Так высмеивал Чернышевский, как антинаучный вздор расистские представления. Правда, во времена Чернышевского расовые теории еще не носили фашистско-изуверского характера, но вздорность их была уже тогда ясна. Чернышевский противопоставил им научное деление народов, по национальному и социальному признаку, благодаря которому, по справедливому мнению Чернышевского, «португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земле-

дельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта»¹.

Как гуманист решал Чернышевский и вопрос о войнах.

Позиция Чернышевского — позиция революционера и демократа, борца, а не сторонника умирительного, розового гуманизма добродушных мечтателей. Истина конкретна, любил говорить Чернышевский-диалектик. «Пагубна или благотворна война?», — писал он. — «...надобно знать, о какой войне идет дело... для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; марфонская битва была благотворнейшим событием в истории человечества»².

Очевидно, что в обоих случаях Чернышевский имел в виду национально-освободительный, направленный против иноземного захватничества, характер этих войн. «Разумна и полезна, — писал Чернышевский, — только та война, которая ведется народом для защиты своих границ. Всякая война, имеющая целью завоевание или перевес над другими нациями... безнравственна и бесчеловечна»³.

Чернышевский защищал и оправдывал отечественные войны в истории, имевшие целью защиту национальной независимости народов, отличал войны захватнические, как мы говорим сейчас, несправедливые, от войн, ведущихся за национальную независимость, т.-е. справедливых.

Так литературное наследие Чернышевского входит в арсенал нашей священной борьбы против фашистского варварства.

Вместе с нами борется против врагов наших Чернышевский. Его боевой философский материализм — против фашистского мракобесия и идеализма, его экономическое учение о труде, проникнутое любовью к трудящимся, — против фашистского «аристократического»

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X, ч. II, стр. 153.

² Н. Г. Чернышевский. «Эстетика. Критика», стр. 382.

³ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, стр. 152.

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X, ч. II, стр. 98—99.

презрения к труду и людям труда, его вера в исторический прогресс — против черной фашистской реакции, его эстетическая теория, провозгласившая «прекрасное — есть жизнь», — против фашистской апологии истребления и разбоя, его боевой демократизм — против жалких фашистских притязаний на аристократизм крови, его гуманизм, любовь к человеку, вера в человека — против фашистского угнетения человека и человеконенавистничества, его свободолюбие — против фашистской тирании, его вера в культуру и просвещение — против фашистского невежества и жадности уничтожения культуры реакции, его литературные теории, исполненные борьбы за правду в искусстве, — против фашистской апологии лжи, и, наконец, его беспредельная любовь к родной России и русскому народу — против кровавой фашистской ненависти к русскому народу.

Энгельс как-то назвал нашего Чернышевского «социалистическим Лессингом». Это замечательно верно. Сейчас, в дни нашей борьбы против немецко-фашистского варварства, параллель Чернышевский — Лессинг полна для нас особого смысла и значения.

Если бы жил сейчас Лессинг, немецкий Чернышевский своего времени, просветитель-гуманист, — какими гневными словами заклеил бы он попытки фашистов «обработать» его идейное наследие в духе своих «теорий».

Как Чернышевский в России в XIX веке, так и Лессинг в душной атмосфере Германии второй половины XVIII века поднял знамя борьбы против феодального мракобесия и гнета, против всей системы «пруссаческого», феодально-дворянского мировоззрения, — в каком бы облачении оно ни являлось — философском, литературном, эстетическом, этическом, богословском.

Лессинг оказал своему народу поистине неоценимую историческую услугу, — он своими произведениями сказал правду о жалкой, убогой жизни Германии XVIII века под властью князьков-деспотов, тиранов и призывал разбить косную силу предрассудков, — соци-

альных, расовых, этических. «Неужели мы для того только и живем на свете, чтобы губить друг друга?», — с болью восклицал Лессинг, наблюдая немецкую действительность своего времени. Лессинг проповедывал человеческое достоинство, честь, дружбу, уважение народов друг к другу в противовес изверским теориям расового национального «избранничества», — достаточно вспомнить «Натана Мудрого», в котором все расово-национальные предрассудки вложены в уста невежд, плутов и разбойников. Лессинг отвечал им устами своего мудрого Натана: «...Ах, когда бы мне удалось найти в вас человека, хоть одного найти еще, который довольствовался бы тем, что человеком зовется он!»

Лессинг восклицал, вместе со своей благородной Эмилией Галотти: «Кто тот человек, который может принуждать другого человека!»

Нужно было великое идейное мужество Лессинга, чтобы тогда, в пору деспотизма Фридриха II, проповедывать свободолюбивые идеи просвещения и гуманизма. На главное «дело жизни» Фридриха II, на Семилетнюю войну Лессинг, ее современник, смотрел с отвращением.

Мы недаром вспомнили об этом, — известно, что фашистские лже-историки весьма склонны сравнивать нынешнюю гитлеровскую войну с той, фридриховской.

Русские люди не забывают и того, как в трудную пору своей жизни, остро ощущая гнет окружавшей его действительности, Лессинг написал своему старику-отцу, в ответ на просьбу отца, чтобы сын определился на службу: «О моем определении на службу мои знакомые хлопчут больше меня... В последнее время сильно уговаривали меня ехать в Москву, где... основывается университет. Из всех подобных предложений это скорее всего может осуществиться». Этому предположению не суждено было осуществиться. Но бессмертные произведения Лессинга прочно проложили себе путь в Москву, как всякое великое слово истинной культуры, демократии, гуманизма, свободы.

★

В центре деятельности Чернышевского стоит его кипучая борьба за отмену крепостного права в России и всех крепостнических порядков.

Человек может хорошо работать только тогда, когда никто и ничто не мешает его труду, не отнимает у него результатов труда, когда человек свободен.

Борьбе за свободу русского народа и была посвящена вся деятельность Чернышевского. Эту борьбу он мужественно вел во главе маленькой группы революционеров-демократов против царя и его правительства, против деспотического самодержавия и крепостников-помещиков.

И эту борьбу Чернышевский рассматривал как свой святой патриотический долг.

Он указывал, что интересы личной выгоды, собственно, диктовали ему молчание, ибо никто из писавших в то время по «крестьянскому вопросу» в духе, отличавшемся от официальных помещичье-правительственных позиций, ничего, кроме гонений, в награду не получал. Но он не мог молчать.

«Мы не изменники родины»...

«Для измены родине нужна чрезвычайная низость души»¹, писал Чернышевский. Он говорил о «высокой народной гордости».

Люди, лишённые чувства патриотизма, вызывали в нем отвращение. Чернышевский называл их пошлыми; в «Прологе» он писал об одном из героев романа — Нивельзине: «До недавнего времени он был пошлым человеком. Единственное хорошее, что было в нем, — он любил науку... Он не думал о народе, не думал о счастье людей. Отечество было для него официальный механизм». Он «...старался помогать увеличению сил механизма, который дает народ».

Патриотизм Чернышевский называл прекрасным чувством.

«...Как все высокие слова, как любовь, добродетель, слава, истина, слово «патриотизм» иногда употребляется во зло непонимающими его людьми для обозначения вещей, не имеющих ничего общего с истинным патриотизмом; потому, употребляя священное слово — патриотизм, часто бывает необходимо определить, что именно мы хотим разуметь под ним. Для нас идеал патриота — Петр Великий; высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека»¹.

«...историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами перед родиной, его человеческое достоинство — силою его патриотизма. Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин справедливо считаются великими писателями, — но почему? Потому, что оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа. Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству. Державин даже считал себя имеющим право на уважение не столько за поэтическую деятельность, сколько за благие свои стремления в государственной службе. Да и в своей поэзии что ценил он? Служение на пользу общую. То же думал и Пушкин. Любопытно в этом отношении сравнить, как они видоизменяют существенную мысль Горациевой оды «Памятник», выставляя свои права на бессмертие. Гораций говорит: «Я считаю себя достойным славы за то, что хорошо писал стихи». Державин заменяет это другим: «Я считаю себя достойным славы за то, что говорил правду и народу, и царям»; Пушкин — «за то, что я благотельно действовал на общество и защищал страдальцев».

«Но ни в ком из наших великих писателей не выразилось так живо и ясно

¹ «Литературное наследство», № 3, стр. 87.

¹ Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения. стр. 332—333, 1934 г.

сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он прямо себя считал человеком, призванным служить не искусству, а отечеству, он думал о себе: я не поэт, я гражданин.

Невозможно, чтобы наши великие поэты ошибались в этой мысли о своем призвании и деятельности, которая руководила всеми ими. Невозможно, чтобы все отечество ошибалось в течение слишком ста лет о каждом из своих замечательных писателей, ученых и поэтов, одинаково говоря: «Он велик потому, что деятельность его была направлена к общей пользе. Действительно, до сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки — содействие распространению их в его родине».

«...Русский, у кого есть здоровый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть не чем иным, как патриотом в смысле Петра Великого, — деятелем в великой задаче просвещения русской земли. Все остальные интересы его деятельности — служение чистой науке, если он ученый, чистому искусству, если он художник, даже идее общечеловеческой правды, если он юрист, — подчиняются у русского ученого, художника, юриста великой идее служения на пользу своего отечества»¹.

Таким образом, для Чернышевского идеал русского патриота — Петр I, ибо он беспредельно желал блага родине. Историческое значение каждого великого русского человека измеряется его заслугами перед родиной. С этой точки зрения судил Чернышевский всех исторических русских деятелей, всех русских писателей. Чувство патриотизма, польза и благо родины были для Чернышевского всеохватывающим критерием оценки писателей и их произведений.

Так же оценивает народ самого Чернышевского, великого русского патриота, верного сына своей родины и своего народа, отдавшего во имя его

блага, свободы и счастья свой гений и самую свою жизнь.

Чернышевский с гордостью говорил о своем родном народе и своей стране: «Мы так многочисленны, так сильны, что... не можем бояться никого... Это может показаться гордостью. Называйте как хотите, но дело основано на статистическом факте»¹.

Чернышевский вспоминал исторические события в жизни русского народа, не раз показывавшие его военное могущество: народ выручил Москву в 1612 году, выручил Украину, победив шведов, установил связь с Европой, а в войне 1812 года против Наполеона могучий русский народ «завоевал своему государству первенство в Европе».

Чернышевский был современником Крымской кампании, и, естественно, неоднократно в своих работах говорил о ней. Наблюдая ход войны, он неизменно отмечал храбрость русских войск. Как известно, об этом же писали Маркс и Энгельс, пристально следившие за событиями войны 1853—1856 гг.

Русский народ Чернышевский называл великим. Его бесконечно возмущала барская клевета на народ. Крепостники-помещики, когда подготавливаясь отмена крепостного права, корыстно защищая свои имущественные интересы и выгоды, не останавливались перед клеветой на народ, говорили, что если дать крестьянину столько земли, сколько нужно для его пропитания, то он будто бы все остающееся от труда время «пролежит на боку». Нечего и говорить, что Чернышевского — демократа и патриота — безмерно возмущала эта предательская клевета помещиков на крестьянина.

«Не обманывают ли нас глаза и уши, — с возмущением писал Чернышевский. — ...О ком это говорится, что он ленив? О каком-нибудь итальянце или арабе? Нет, о русском мужике. Почему бы не говорить также, что у русского мужика белые руки с изящно обточенными ногтями, что он любит

¹ Н. Г. Чернышевский. «Очерки гоголевского периода русской литературы». «Эстетика. Критика», стр. 332—333.

¹ Н. Г. Чернышевский. Сочинения. т. VIII, стр. 53.

играть в преферанс, что он обыкновенно обедает на фарфоровом сервизе?» — едко спрашивает Чернышевский защитников крепостного права. «...Нет в Европе, — продолжает он, — народа, более усердного к работе»¹.

«...Грех нам и стыдно, — возмущается Чернышевский «клеветническими доводами защитников крепостного права, — говорить о недостатке охоты к работе у русского мужика». И он яростно обвиняет дворянство в том, что оно судит о русском крестьянстве «по своему образу и подобию».

Об украинцах писал Чернышевский: «...Очаровательное соединение наивности и тонкости ума, мягкость нравов в семейной жизни, поэтическая задумчивость характера, непременно настоящего, красота, изящество вкуса, поэтические обычаи, — все соединяется в этом народе, чтобы очаровывать вас, так что иноплеменник становится малорусским патриотом, если хоть сколько-нибудь поживет в Малороссии»².

«Прекрасное — есть жизнь», — провозгласил Чернышевский в своем знаменитом сочинении «Эстетические отношения искусства к действительности», явившемся боевым манифестом материалистической философии и эстетики в России.

Для Чернышевского прекрасное — это прежде всего русский народный идеал красоты. Хорошо жить, по понятиям современного Чернышевскому крестьянина, — это, по мнению Чернышевского, значит жить зажиточно и работать... «Жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям». «...В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного

признака красоты, который не был бы выражением цветущего «здоровья»¹.

Во многом воплощением русской национальной духовной красоты и силы является у Чернышевского знаменитый герой романа «Что делать?» — Рахметов. Автор назвал его «особенным человеком». По словам героини романа, Веры Павловны, Рахметовы «сливаются с общим делом, так что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь». Он — орел, человек особой породы. Читатель впервые видит его, как человека строгих и самостоятельных научных суждений: Рахметов у книжной полки: «известно...» «несамобытно...» «несамобытно...» Это относилось к трудам историков Маколея, Гизо, Тьера, Ранке, Гервинуса...» И далее Чернышевский рассказывает биографию героя. Его называли «ригористом», но еще иначе называли его «Никитушкой Ломовым», — это доставляло ему видимое удовольствие. Он «...приобрел твердостью воли право носить это славное между миллионами людей имя. Но оно гремит славою только на полосе в 100 верст шириною, идущей по восьми губерниям; читателям остальной России надобно объяснить, что это за имя. Никитушка Ломов, бурлак, ходивший по Волге лет 20, 15 тому назад, был гигант геркулесовской силы; 15 вершков ростом, он был так широк в груди и в плечах, что весил 15 пудов, хотя был человек только плотный, а не толстый. Какой он был, об этом довольно сказать одно: он получал плату за 4 человек. Когда базар, по дальним переулкам раздавались крики парней: «Никитушка Ломов идет, Никитушка Ломов идет!» и все бежали на улицу, ведущую с пристани к базару, и толпа народа валила вслед за своим богатырем»².

Присутствие в русской жизни таких людей, как Рахметов, и вселяло в Чернышевского непоколебимую веру в светлое будущее его страны. В нашем об-

¹ Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, т. I, стр. 88.

² Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений, т. VIII, стр. 279.

¹ Н. Г. Чернышевский. «Эстетика. Критика», стр. 56.

² Н. Г. Чернышевский. «Что делать?», стр. 273.

ществе, говорил он, есть свежие силы, есть стремления вперед, есть залогов для развития более живого и широкого, нежели все предыдущее.

Самому Чернышевскому не суждено было увидеть блестящее развитие его родной страны. Это увидели и создали потомки Чернышевского — советские люди. За кипучую революционную деятельность великий революционный демократ был осужден царским самодержавием и почти три десятилетия до конца своей жизни провел в изгнании, в тюрьмах, на каторге, в ссылках, в горьком одиночестве ума и сердца, под страшной тяжестью жестоких преследований со стороны царизма.

Но царизму не удалось сломить веры Чернышевского в исторический прогресс, в великую будущность родного народа.

Любовь к народу и сознание принесенной пользы родине были, быть может, единственным «утешением» в конце жизни Чернышевского.

Из далекой сибирской ссылки он писал жене, что нисколько не жалеет о

драматически сложившейся его личной жизни, ибо «все, что он делал, он делал для своего отечества». «Мы увидим, — писал он, — это пригодилось для нашей родины»¹.

С полным правом писал о себе Чернышевский из ссылки: «Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее».

Чернышевский писал: «Мы (т.-е. русский народ. — И. Н.) настолько сильны, что ни с запада, ни с юга или востока не может нахлынуть на Россию орда, которая подавила бы нас... Нам впереди на много столетий обеспечена счастливая доля делаться самим и устраивать свою жизнь все получше и лучше»².

Этой верой в лучшее будущее своего народа Чернышевский жил.

¹ «Н. Г. Чернышевский в Сибири». Выпуск I, стр. 24.

² «Н. Г. Чернышевский в Сибири». Выпуск II, стр. 179.

И. Эренбург-публицист

О. ВОЙТИНСКАЯ

★

В дни, когда Испания боролась за свою независимость, Илья Эренбург был в Мадриде. Он был не только очевидцем испанской трагедии, он стал ее участником. В борьбе с ненавистным врагом народ испанский принес на алтарь отечества своих жен, детей, жизнь лучших сынов своих.

Фашистское нашествие на Испанию было прелюдией к задуманному Гитлером походу смерти против всех свободлюбивых народов.

Уже тогда Илья Эренбург увидел вочию лицо гитлеризма и страстно возненавидел его.

Новые черты появились тогда в творчестве этого, столь своеобразного писателя. Он стал трибуном, глашатаем антифашистского фронта. Он стал проповедником непреклонной борьбы с коричневой чумой.

Шел год 1939... Эренбург жил в милом его сердцу Париже и стал очевидцем трагедии Франции. Испания сражалась с честью, Франция покрыла себя позором. В одной из своих статей Илья Эренбург написал: «Я видел, как пал Париж, — он пал не потому, что были непобедимы немцы. Он пал потому, что Францию разбили измена и малодушие».

Сердце писателя запечатлело страшную картину губительных последствий измены правительства интересам нации.

Пруссаки топтали площади Парижа. Немецкие самолеты расстреливали французских женщин и детей. В ресто-

раны и общественные места перестали пускать евреев. Революционная писательница Анна Зегерс с малолетними детьми спасалась от жестокости своих соотечественников. Мозг убитой французской девочки обрызгал лицо матери. Немецкий солдат стал хозяином в Париже.

Пытки в гестапо, грабеж музеев и частных квартир... Страна, бывшая колыбелью Великой Французской революции, была поставлена на колени перед фашизмом... Эренбург все это видел своими глазами, видел и запомнил на всю жизнь. Урок испанский и урок французский не прошли даром. Тогда то было написано «Падение Парижа» — отличная книга о причинах поражения Франции и необходимости беспощадной борьбы с фашизмом. Эту книгу мог написать человек с настоящим темпераментом, чувством времени, взыскательный художник.

«Я знаю, что приносят народам немецкие фашисты, — я не читал об этом, я это видел», — пишет Эренбург в статье «На берегу Луары».

Большой жизненный опыт, мучительное раздумье над судьбой столь любезной сердцу Эренбурга Европы приводят его к точному решению. Из европейских писателей он одним из первых почувствовал размеры грядущего бедствия, увидел реальный оплот надежды. «Большая беда стряслась над миром, — писал он. — Я понял это в августе 1939 года, когда беспечный Париж

вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому честному человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, покой. Мы многое потеряли, мы сохранили надежду».

В дни празных испытаний Илья Эренбург как бы вновь увидел страну, вскормившую его, увидел и полюбил навечно. Вера в Россию, в советский народ спасла его от скепсиса, от губительного яда пацифизма.

Оплот надежды СССР — к этой мысли неустанно возвращается в своих статьях Илья Эренбург. «Война—тяжелое, суровое дело, но наши сердца закалены. Мы знаем, какое горе принес фашистский захватчик другим неразумным народам. Мы знаем, как он останавливается, когда видит достойный отпор.

Мы не дрогнем, не отступим. Высокая судьба выпала на нашу долю — защищать нашу страну, наших детей и спасти измученный врагами мир. Наша священная война, война, которую навязали нам захватчики, станет освободительной войной поработенной Европы».

Эти строки мы прочли 22 июня 1941 года в статье «В первый день». Они определили весь дальнейший путь писателя. Да, урок французский и урок испанский не прошли даром. Эренбург понял, что главное не дрогнуть, выстоять, чтобы отразить натиск врага и затем сокрушить его.

Во имя родины, во имя культуры — огонь по немцам, вот основная идея его статей военного времени.

Илья Эренбург стал свидетелем трагической судьбы многих своих современников-писателей. В изгнании Томас Манн и Генрих Манн. Покончил самоубийством Стефан Цвейг. Умер Антонио Мачадо. Не приняло фашизма и следующее поколение писателей. Повесился Толлер. В вынужденной эмиграции Ремарк, Деблин, Брехт, Бехер, Верфель, Зегерс, Франк. Оставили Францию Моруа, Ромэн, Бернанес. В Америке польский писатель Тувим, испанские писатели Бергамин и Альберти.

Вся европейская культура восстала против немецкой агрессии.

«Под огнем мы идем вперед, под огнем отбиваем великое нашествие тьмы. Мы многое потеряли в этой борьбе, но мы сохраним для нового счастливого поколения мысль, свет, совесть человека».

Человек с седой головой и усталыми глазами вышел на передний край обороны своего отечества. В борьбе с немцами Илья Эренбург стал отличным снайпером. Его статьи могут служить образцом публицистической деятельности патриота-писателя во время отечественной войны. Ненависть врага — лучшая оценка разящей силы его слова. Любовь советского читателя на фронте и в тылу, широкая популярность в свободолюбивых странах за рубежами СССР — лучшая награда писателю-бойцу.

Расцвел его блестящий талант публициста. Статьи Эренбурга — отличная проза, энергическая, благородно-строгая, эмоциональная. Именно во время войны писатель создал стиль статьи-новеллы. Они всегда написаны по поводу события, волнующего народ, по поводу наиболее важного общественного явления. Читатель узнает статьи Ильи Эренбурга по темпераменту, по удивительному умению соединить пафос мужества с иронией ненависти, по искусству портретной живописи. Они запоминаются по идеям и чувствам, близким каждому советскому патриоту.

Вспомните его памфлеты. Эренбург писал о Гитлере: «Он любит сниматься с детьми и собаками — хочет показать, что у него нежная душа. А Гиммлер ежедневно представляет ему доклады о пытках, о казнях. Гитлер написал: «Нет выше наслаждения, чем подвести поверженного соперника под нож».

Илья Эренбург пишет о гитлеровском палаче: «Правосудие для Гиммлера—это запах паленого человеческого мяса».

Блестящая концовка статьи «Вальтер Дарре»:

«Этот рабовладелец криклив и нагл. Он сказал: «Англия должна быть разрушена, как древний Карфаген». Он грозит уничтожить Америку. Он клянется, что превратит 200 миллионов советских граждан в рабов. При этом он да-

леко не уверен в будущем. Недавно он перевел в японский банк 400 тысяч долларов: вдруг не удастся превратить человечество в «рабов»...

Умение писать точно и лаконично, умение в сжатой динамической фразе создать образ, точно выразить свое отношение к явлению создает особый стиль Эренбурга, обладающий огромным эмоциональным воздействием.

В самые тяжелые времена войны, когда голос диктора объявлял нам о временных неудачах, об отступлении, были написаны лучшие статьи Эренбурга, исполненные мужества, сердечные и простые.

«Война» — так назвал он свою книгу статей за годы 1941 и 1942. Это очень точное название. Илья Эренбург ведет войну с немцами со всей яростью очевидца их злодеяний, пламенного патриота советской земли, со всем искусством мастера меткого огня.

Эренбург люто ненавидит немецких захватчиков.

В традиционном облике белокурой Гретхен он разглядел омерзительные черты кровожадной Кетхен — достойной подруги убийцы Фрица. «Для них война — универмаг. Мужья пошли за покупками», — читаем мы в статье «Шелк и вши».

Вместе с передовыми частями Красной Армии Илья Эренбург входил в наши отбитые от врага селения, с поседевшим от горя сердцем склонял он голову перед трупами замученных русских женщин и детей. Он видел цветущие города, превращенные в развалины, поля, ставшие кладбищем. Выражая чувства народа, писатель мечтает о часе возмездия, когда бьющие по щекам своих рабынь эсесовские дамы услышат вой воздушной сирены, испытают бомбардировки. Это — жажда справедливости, естественная, благородная...

Статьи Ильи Эренбурга дают очень верную оценку современных немцев. Он понял, что яд гитлеризма отравил нынешнюю Германию, что отрезвить ее может только поражение в войне, только свинец. Апологеты смерти и разрушения должны быть уничтожены. Эту

очень важную и очень своевременную идею Эренбург развивает во всех своих статьях. «Рабы смерти» — так назвал он гитлеровцев в одной из своих новелл. Это очень верное определение сущности фашизма. Эренбург понял, что отечественная война — борьба жизни со смертью, творчества с разрушением, созидательного труда с рабством.

Сборник «Война» пригвождает к позорному столбу кровного врага цивилизации всех народов. Он призывает к борьбе со смертью. Он вопиет о благородной, о священной мести, о беспощадной расправе с армией бандитов, рабовладельцев.

В ушах автора назойливо звучала подлая немецкая песенка, выражающая циничное бездушие гитлеризма:

Если весь мир будет летать в развалинах,
К чорту, нам на это наплевать:
Мы все равно будем маршировать дальше,
Потому что сегодня нам принадлежит

Германия,

Завтра — весь мир!

Перед глазами писателя вставали трупы замученных испанцев, расколотый череп французской девочки, виселицы в Волоколамске, обезображенные тела советских людей... Горе и кровь всюду, где ступила нога фрица. На полях России сейчас решаются судьбы нынешних и грядущих поколений. Эренбург ощущает размеры грозящей миру опасности. Он знает, что именно сейчас решается судьба человечества, судьба культуры.

Смертельная борьба с фашистской Германией стала личной судьбой, делом жизни, делом чести писателя.

Свидетель кошмарных немецких злодеяний и беспримерной стойкости своего народа, Эренбург нашел слова, звучащие, как набат. Он живет в жестокое, удивительное время. Немцы пытаются детей на глазах у русских женщин, чтобы вырвать слова предательства и измены. Женщины молчат...

Немцы решили расстрелять партизана. Двадцать раненых красноармейцев отдали свою жизнь, чтобы он мог уйти от врага и сражаться. Семеро советских людей гибнут, взрывая мост, что-

бы не могли пройти немецкие войска. Массовый героизм, величие народного духа — вот это увидел Эренбург в СССР после урока испанского и урока французского. Увидел и воспел в своих публицистических статьях... «Трудно об этом спокойно писать — душит ненависть к врагу, гордость за товарищей приподымает — быть, как они!..»

Быть, как они,— вот что стало девизом Эренбурга, вот что накаляет перо писателя, создает пафос его статей.

Перечтите сборник сейчас, на втором году войны. Редкая газетная статья живет долго. Статьи Эренбурга интересны и доньше. Вы найдете в них ответ на вопрос, что делать, настоящие слова мужества и надежды.

6 июля Эренбург писал о «непобедимой» немецкой армии:

«Они играют в Наполеоны. Они прикидываются Цезарями. Но уничтожать их будут, как бешеных волков, как чумных крыс, как страшных и мерзких гангстеров».

Немцы подходили к Москве. Эренбург был уверен, что советский народ «не упадет, не сдастся».

Вся книга — мечта о чаше расплаты, о суровом суде над страной-агрессором, страной-палачом. В отличной статье «Преступление и наказание» мы читаем: «Вы будете выть: «Защитите нас от сорока народов». Никто вас не защитит. Ваши военные заводы, ваши арсеналы взлетят. Ваши крепости будут скрыты. Ваша свастика будет растоптана. Вы сможете на берлинской улице, именуемой Аллеей Побед, поставить еще один памятник: Германию с факелом, Германию-поджигательницу, обугленную, уродливую и черную, как ночь, горе-Германию».

Автор сборника знает, враг силен. Эренбургу ли, свидетелю гибели Франции, не знать, сколь гибельны беспеч-

ность, малодушие, измена. И он неустанно пропагандирует необходимость борьбы, бдительность, стойкость и волю к победе.

Илья Эренбург обладает жестоким талантом показывать жизнь без украшений, без погрешек, без утешительной лжи. Он писал и об оставленных городах, и о горести отступления, и о страданиях народных. Мы читали его статью об оккупированном немцами Киеве, об опасности, грозящей Москве, о большом народном горе. Смертельная опасность грозит отечеству нашему. Автор сборника разговаривает с читателем суровым языком солдата, языком жестокой, неумолимой войны. Может быть, именно поэтому он стал столь популярным, столь любимым писателем.

Эренбург в дни войны стал поэтом доблести народа, поэтом воинской чести его армии. «Наш Илья» — любовно зовут его бойцы в письмах. Может ли быть большая похвала для писателя, когда опасность грозит отечеству?

В одной из его последних статей мы читаем прекрасные строки: «Древние изображали победу с крыльями. Но у победы тяжелая нога, она не летит. Как боец, она пробирается под огнем, пригибается, падает, снова идет — шаг за шагом. Победа — большое, величественное здание. Сейчас кладутся его первые камни».

Тяжелое время переживает наша страна. Весь народ, напрягая силы, воюет за свою жизнь, за будущее своих детей, за честь страны. Много еще тяжелых испытаний впереди. И счастлив тот, кто участвует в эту тяжелую годовую бедствий в деятельности своего народа, кто живет его мыслями, его чувствами, кто закладывает первые камни победы. Среди этих людей — пламенный публицист, отличный писатель Илья Эренбург.

Библиография

ВОЕННЫЕ СТИХИ И. ФЕФЕРА И Д. ГОФШТЕЙНА*

У меня был сад в цвету — враг калечит
ветки.
Дом мой пел — теперь он мертв, шум
услышишь редкий.
Если друг остался в нем — он как
пленник в клетке.

И лазурь небес моих ранил враг
снарядом,
И село мое убил враг огнем и ядом,
И теперь оно подстать дымным
баррикадам.

Ложе было у меня — змеи спят там
ныне.
У меня был друг — его нет уже в помине,
Плачет ветер над бойцом, павшим при
долине,

Был и город у меня, и река родная,
Солнце, звезды надо мной шли, огнем
пылая,
А теперь и день, и ночь — только ночь
сплошная.

У еврейского поэта, сына цветущей Украины, было все, что дала советская родина советским людям. Враг растоптал это счастье советского человека. Но поэт твердо верит, что ограбленное счастье будет отвоевано и вместе со всем народом родной Украины он вернется победителем в родные места, к спаленному, но вечно святому для него отчому крову.

Сердце с городом Днепра мост связал
незримый,
И бессильны перед ним и огни, и дымы,
Через этот мост идут в город мой
любимый.

Город в муках и в крови, город — в
долгом плаче,
Город дышит тяжело, но далек от сдачи,
Город борется, живет, красотой маячит.

* И. Феефер. «Берлинская ночь», стихи, перевод с еврейского. Д. Гофштейн. «В грозные дни», стихи, перевод с еврейского. Библиотека Союза Советских Писателей Украины «Фронт и тыл», 1942.

Слышит наши голоса, видит боя знамя,
Верит: он не одинок и не брошен нами,
Верит: снова будет он с храбрыми
сынами.

Злая свастика падет с приднепровских
башен,
Змеям в Киеве не жить, сад мой станет
красше,
Выше, выше и светлей станет небо наше!

Стихотворение Ицника Феефера «Мой город» (перевод Якова Бродского) ярко показывает направленность и идейное содержание творчества поэта за год отечественной войны. Тоска по родным местам, но тоска не безисходная, а с верой в победу и с твердой убежденностью, что эту победу можно завоевать только мужественной борьбой с врагами, — вот что характеризует творчество Феефера в дни войны. Русскому читателю оно отчасти известно по стихотворениям, печатавшимся в «Красной звезде» и других центральных газетах. Поэма «Берлинская ночь» и наиболее интересные стихотворения «Проклятие» и «В фашистской Германии» — гневное и страстное разоблачение звериного лика германского фашизма, призыв народного проклятия на головы жестокой клики, правящей страной, где

Из тюрем доносится гейневский стих,
Бетховена гром за решеткой не стих,
И Тельмаи закованной машет рукой,
И Либкнехт из гроба встает, как живой.
На битву с кровавой Германией!

Значительный интерес представляет собой поэма «Берлинская ночь». Написанная в эпических тонах, она в образе древнего старца и философа, седовласого и согбенного Авром-Иццока, бродящего с длинной кривой палкой по берлинским улицам, утверждает бессмертие духа свободы. Он не может быть задушен, этот дух, теми, кто в своих зверствах превосходят инквизиторов, Ирода, Чингиз-хана, Нерона. Какие бы новые мучения ни придумывали непокорному народу арийские властители во главе с берлинским фокусни-

ком «в шапке Фридриха Второго, в ордене и позументах и с короной подмышкой», Авром-Ицхок философически заключает: «Все земля уже видала, все ей ведомо издревле». Но в одном ошибся Авром-Ицхок — фашисты изобретают такие зверства, каких земля никогда не видала:

Стынут улицы Берлина,
Стынут площади и скверы,
И повсюду на асфальте
Полыхают дымно книги.
Прутья черные на окнах,
Рты увешаны замками,
Отовсюду смотрит голод,
И в изгнание уходят
Разоренные евреи.
И кривляется над миром
Жалкий фокусник-безумец,
И блуждает среди смрада
Древний старец Авром-Ицхок.
Он по городу блуждает,
Среди прутьев и решеток,
И звучат из казематов
Устрашающие вопли.
— Старик под нос бормочет:
— Авром-Ицхок, Авром-Ицхок,
Ты ошибся, просчитался,
Нет, не все старо на свете,
И не все земля видала.

В «Берлинской ночи» (перевод С. Левмана) поэту удалось убедительно показать мрачную ночь сегодняшней Германии, страшное для народа безумие осатаневшего фашизма и звериную философию выродившихся людей, кичливо считающих себя представителями высшей расы.

Стихи Ицика Фефера, собранные в небольшом сборнике, отличаются высокой гневностью и страстностью. Это результат глубокой убежденности поэта в силе гневного и горячего слова правды и обличения. Он знает, что этого слова боятся враги — потому на киевских улицах пылают костры, на которых сжигаются книги — «в них пылает сердце, кровь моя течет». Но слово правды бессмертно, его сжечь нельзя — поэт верит, что буквы сожженных книг уносятся в поднебесье, буквы — это звезды, небо — это книга — «вечность всех трудов».

Враг поджечь не может небо голубое,
Смотрит озверело на полет строки.
Весь недостижима для костров, разбоя,
Строки превратились в острые штыки.

И штыки вонзились прямо в сердце вражье.
Поджигатель — в страхе, видит свой конец.
А стихи воюют, а стихи на страже
Города родного и родных сердец.

Стихи Фефера находят отклик в сердце читателя, который с волнением ознакомится с произведениями, созданными поэтом в дни войны. На этих произведениях подчас лежит

налет риторичности, но черта эта, на наш взгляд, усугублена переводами, на которых мы несколько подробнее остановимся ниже.

В творчестве видного еврейского поэта Давида Гофштейна всегда доминировала узкоинтимная лирика. Поэтому многие его стихи, блестящие по своей форме, не доходили до широкого читателя. Совсем по-иному звучат стихи, собранные в небольшой книжке «В грозные дни». Читатель верит поэту в том, что «еврейский стих — у нас в строю, где песни всех народов я чувствую своими». Может ли это означать, что сейчас стихи Гофштейна утратили свою пленительную лирическую окраску, придававшую им во многих случаях большую сердечность и задушевность? Отнюдь нет! Давид Гофштейн, понявший, что «в грозном пути бойцом обязан быть поэт», обращается к читателю взволнованно и от всего сердца делится с ним своими переживаниями и мечтаниями. Вводит его в круг своей жизни. Но эта субъективность настолько проникнута чаяниями народа в грозные дни священной войны, что перед читателем встает не узкий мирок, не замкнутый круг личных переживаний, а трагедия миллионов людей, обездоленных, но не упавших духом, знающих, что их долг — «в бой итти за новый день, за новый свет».

И поэт видит эту готовность выполнить свой долг во всех своих соотечественниках: и в уфимских рабочих («На обувной фабрике имени Ворошилова»), и в башкирских девушках, плетущих маскировочные сетки для наших танков («Мои слабые руки»), и в сыновьях и дочерях еврейского народа, ушедших от врага с родной украинской земли («В год суровый, печальный»). Куда бы ни пришел поэт, на что бы ни взглянул, все напоминает ему об этой решимости, все бодрит его, закаляет его силы.

В Киеве поэт жил на Ленинской улице, он тоскует о ней. Ему становиться легче, когда, переселившись в Уфу, он заходит в соседний дом — музей Ленина:

Он не простой — соседний дом,
Он о геройстве говорит,
И имя Ленина на нем
Звездой для путника горит.

Чудесна улица моя,
Хранит истории главу.
И вот горжусь по праву я,
Что здесь работаю, живу.

Порой, в тяжелые часы,
Взгляну на этот дом — я вот
Мне легче от его красы,
Мне этот дом тепло дает.

Тематически книжка Гофштейна рассказывает о людях, которых он встречал не на фронте, а на заводах, в музеях, в эвакуационных эшелонах. Но и в этих людях он увидел

дух бойцов, величие народа, который страдает, но не сгибается, приносит жертвы, но борется до конца.

Книжка «В прозные дни» открывается та-
кими строками:

Я слышал Сталина речь!
Ей — сердце людей прочесть.
И молча внимала земля,
Заводы, поселки, поля,
Чтоб каждое слово сберечь...

Я слышал Сталина речь!
Он звал нас — силы напречь,
И все, чем горда страна,
Вождю принесла она,
В оружие наше облечь.

Поэт принес в этот арсенал идущие из глу-
бины сердца стихи. В них слышна неугасимая
уверенность в приходе победы над врагом.
Далеко от родных мест поэт нашел друзей.
Башкирия приняла его, как брата.

Очаг согревает меня,
И люди сошлись у огня.
В жилье деревянном своем
Дружу я с веселым огнем.
Отчизна моя широка,
Рука ее всюду легка,
И всюду, как света между,
Я ласку и дом нахожу.
Но тянет меня в те края,
Где юность шагала моя...

И стихи поэта пропитаны верой в то, что
он вернется в эти края.

Книжка Давида Гофштейна еще в большей
степени, чем книжка Ицка Фефера, заставля-
ет нас вновь поставить вопрос о качестве
переводов. Нам довелось познакомиться с
оригиналами, и это дает право говорить о
низком поэтическом уровне некоторых пере-
водов. Этот упрек можно сделать Р. Скомо-
ровокому («Эй, вы, слушайте!», «Мы знаем
слово — фронт»), Элингу («Ленин») и
Е. Ильиной («В год суровый, печальный»).
Стремление к внешнему соответствию пе-
ревода оригиналу приводит этих переводчи-
ков к скванным и малопоэтическим строчкам.
Основной переводчик Гофштейна Яков Го-
родской, лучше других передающий на рус-
ском языке особенности поэзии Гофштейна,
тоже допускает иногда небрежности. Так,
например, в прекрасном стихотворении
«Мать» иногда встречаются попросту непо-
нятные строки.

Больше повезло в отношении перевода
Ицки Феферу. Это прежде всего относится
к С. Левману, сумевшему сохранить на рус-
ском языке все характерные черты поэтиче-
ского письма Фефера и на протяжении трех-
сот строк избежать прозаизмов, скванности
и неуклюжести, которые встречаются в других
переводах.

Этот серьезный недостаток, выпавший из
поля зрения редактора книжек, не может,
однако, существенно повлиять на восприятие
русским читателем военных стихов двух еврей-
ских поэтов. Он, несомненно, примет эти стихи
очень тепло — они этого заслуживают и свои-
ми литературными качествами, и полным созву-
чием героике наших грозных дней.

Ц. Солодарь

★

ГВАРДЕЙЦЫ О СЕБЕ*

И в трех десятках имен, перечисленных в
оглавлении этой книги, всего лишь пять
или шесть принадлежат литераторам-профес-
сионалам, остальные авторы — бойцы, коман-
диры и политработники Восьмой Гвардейской
Панфиловской дивизии, взявшиеся за перо,
чтобы рассказать о делах и днях своей про-
славленной части, о ее замечательном, уже ле-
гендарном командире И. В. Панфилове. Впро-
чем, выражение «взялись за перо» может быть
лишь условно применено к некоторой части со-
бранных в книге материалов. Ряд очерков и
заметок — это записи устных высказываний
бойцов и командиров, сделанных редактором
книги И. Пикулевым и литератором Вит. Фе-
доровичем. Несмотря на известную стиливую
разнородность материала (очерки и стихи проф-
фессиональных писателей, произведения самих

панфиловцев, записи их устных рассказов),
сборник «Советские гвардейцы» с первой и до
последней страницы целен и органичен. Слав-
ные героические дела гвардейцев вдохновили
и наших писателей, и самих героев на созда-
ние волнующих записей и рассказов.

Эта книга несколько необычна по своему
построению. Например, невыдуманный герой
какого-нибудь из напечатанных в ней очерков
через несколько страниц предстает перед нами
в качестве автора. Так, если младший политрук
Л. Макеев в очерке «Валя Панфилова» рас-
сказывает о медицинской сестре — дочери ле-
гендарного комдива, то в записи «Отец» рас-
сказ ведет сама Валя, делящаяся воспомина-
ниями о своем отце. И очерк Макеева, и вос-
поминание Вали дополняют друг друга, давая
ценные штрихи для характеристики славного
генерала и его дочери. К этим материалам
примыкают стихи дивизионного поэта командира-
артиллериста Дм. Снегина «Медицинская

* «Советские гвардейцы». Сборник. «Советский
писатель», М., 1942.

сестра», посвященное Вале. С искренним чувством рисует Снегин горе дочери генерала при виде убитого отца и ее готовность мстить кровожадному врагу.

Иногда один и тот же факт дважды находит себе отражение в книге. Так, о знаменательном разговоре генерала Панфилова с захваченным в плен немцем мы читаем и в записи «Разговор с пленным автоматчиком», и в другой записи «Бедная Элиза, бедные дети». В передаче самого факта записи сходны. Однако каждая в отдельности вносит свой оттенок в истолкование этого эпизода.

Отдавая должное организаторам и составителям этой книги в деле подбора и оформления материала, надо отметить, что в большой степени начинание их облегчалось тем обстоятельством, что литературное творчество поощрялось в дивизии. В этом смысле показателен упомянутый в книге факт, когда, увидев в дивизионной газете литературную страничку, генерал Панфилов воскликнул:

— Вот какой народ у меня! И немца бьют, и песни поют. Да не чужие, а сами складывают.

Характерна также приводимая в качестве эпиграфа к разделу «Гвардейский юмор» фраза Панфилова: «...Острое слово и острый штык в смелой атаке помогают друг другу...» Литературная работа горячо поддерживалась генералом Панфиловым.

О том, что творчество устное и письменное широко развито в дивизии, свидетельствует тот факт, что, наряду с очерками, стихами, записями бесед, связанными с определенными авторами, мы имеем в большом количестве образцы безымянного творчества. Эти образцы собраны в разделах «Гвардейский юмор», «В минуту, свободную от боев», «Сорок поговорок, сложенных в боях». В каждом произведении этого рода, даже когда оно состоит всего из нескольких слов (поговорки), ясно выражены присущие советскому воину качества — смелость, решительность, непреклонность, вера в конечную победу над врагом.

Большое место отведено в книге нашим славным политработникам. В статьях дивизионного комиссара А. Лобачева, полкового комиссара С. Егорова, в очерках политруков Е. Иванова, Л. Макеева, А. Мартынова мы находим немало примеров беззаветного мужества, проявленного в боях политработниками гвардейских частей. Как высокий образец отваги, героизма, самоотверженной любви к родине, встает перед нами фигура политрука Клочкова — одного из двадцати восьми павших в бою гвардейцев — Героя Советского Союза. Подвиг Клочкова, подвиг каждого из двадцати восьми вдохновляет, воодушевляет панфиловцев на новые героические битвы за честь и независимость родины.

Вл. Афанасьев

★

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НЕКРАСОВА*

В декабре месяце истекшего года исполнилось сто двадцать лет со дня рождения Некрасова. Война помешала отметить эту знаменательную дату как надлежало бы. В мирных условиях широкое празднование этого юбилея сопровождалось бы выходом многих новых работ о жизни и творчестве поэта и изданием его произведений в сотнях тысяч экземпляров. Популярность Некрасова в нашей стране огромна. Он — один из самых читаемых у нас поэтов-классиков. Теперь вполне оправдалось убеждение Чернышевского в том, что слава Некрасова «будет бессмертна, что вечно будет любовь России к нему». Эти слова писались Чернышевским из глухого вилюйского заточения, в те дни, когда Некрасов уже стоял у края могилы. Немногим поэтам выпало на долю возбудить при жизни и после смерти столько горячих, страстных споров, столько разноречивых истолкований и оценок, как это случилось с Некрасовым. Причины ясны — они обусловлены и общественной позицией поэта, и самой сущностью его резко очерченного дарования,

которое всегда вызывало отпор со стороны «друзей спокойного искусства». С большей или меньшей силой споры вокруг Некрасова длились десятилетиями. Наиболее откровенные попытки «развенчать» поэта и предать забвению его стихи падали обычно на годы реакции. Наоборот, с подъемом революционных настроений пробуждался и интерес к его творчеству, переходивший в восторженное поклонение с демонстративно подчеркнутым противопоставлением Некрасова его предшественникам и современникам.

Совершенно исключительное отношение Некрасова к двум темам — Родина и Народ — выделяют его даже и в ряду русских писателей.

Оно окрасило не только эпические произведения, поэта, но и всю его лирику. Эти темы органически сливаются с самыми интимными мотивами его стихотворений, придавая им ту своеобразную, чисто некрасовскую прелесть, которая делает его глубоко национальным поэтом в высшем значении этого слова:

Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную музу.

* А. Еголин. П. А. Некрасов. «Критико-биографический очерк». Государственное издательство «Художественная литература». М., 1941.

Лучшим примером того, как неразрывно были слиты в его стихах личные переживания с темой родины и народа может служить поэма «Рыцарь на час», о которой Михайловский сказал: «Какая странная судьба этого изумительного стихотворения Некрасова, которое, если бы он даже ни одной строки больше не написал, обеспечивало бы ему вечную память».

Непоколебима была вера Некрасова в народ и неиссякаема его любовь к отчизне. С полным правом он мог сказать на краю могилы:

Верь, что во мне необъятно безмерная
Крылась к народу любовь,
И что застынет во мне теперь верная,
Чистая русская кровь.

Перед автором рецензируемой работы стояла довольно трудная задача: в небольшой по размерам книге, рассчитанной на широкие слои читателей (она издана массовым тиражом), дать освещение творческого пути Некрасова и основных проблем изучения его поэзии. Задача эта вполне удачно разрешена А. Еголиным. Доступность изложения не снижает научного уровня книги. Она написана спокойно, хорошим простым языком, без того ложного пафоса, с каким зачастую пишутся дежурно-юбилейные статьи и работы так называемого общего характера. Для сжатого биографического очерка автором использована наиболее важная литература о Некрасове. Там, где это было необходимо, он привлек достоверные свидетельства мемуаристов, ввел отрывки из поэм и стихотворений Некрасова, носящие автобиографический характер, что придало изложению живость и убедительность. Работа написана с подлинной любовью к поэзии Некрасова и на основе добросовестного изучения ее. Отчетливо показано историческое значение некрасовской поэзии, рассмотрены основные темы ее, прослежены связи Некрасова с предшественниками и последователями.

Грубой ошибкой некоторых прежних исследователей являлось, например, утверждение, что у Некрасова не было литературной «родословной», не было наследников и последователей. А. Еголин справедливо отвергает это антиисторическое утверждение и показывает, что именно Некрасов в русской поэзии явился продолжателем Пушкина и Лермонтова, проложивших пути к демократическому гуманизму и подготовивших почву для поэзии 40—60 годов.

«Некоторые стихи Пушкина проникнуты той грустной мелодией русской песни, которая была непосредственным отражением подневольной народной жизни. Мотивы народной песни нашли свое блестящее выражение в творчестве гениального поэта крестьянской демократии

Некрасова. Но начало и здесь было положено Пушкиным».

В книге убедительно раскрыто и то новое, что было внесено Некрасовым в поэзию. «Преодолевая традиции предшествовавшей поэзии, Некрасов создал стиль демократического реализма.

Он достиг предельной простоты и выразительности стиха введением в него разговорной интонации и разговорного словаря. Произведения Некрасова, особенно из крестьянского быта, написаны во многих случаях сказовым стихом и сохраняют все особенности речи (словарь, синтаксис) того лица, от имени которого ведется рассказ. Основной прием, которым пользуется Некрасов, сближая стих с прозой, состоит в умении придать слову большую предметность, почти осязаемую конкретность. Поэт использует язык газеты и журнала. Эпические и крестьянские стихи Некрасова насыщены фольклорным материалом. Некрасов широко применяет народные песни, причитания, пословицы, крестьянские обороты речи и даже особенности крестьянского произношения».

В книге есть тонкие наблюдения, достаточно иногда, впрочем, развернутые (влияние Гоголя на прозу Некрасова, развитие некоторых мотивов юношеской поэзии Некрасова в позднейших его стихотворениях). Хотелось бы видеть более подробную картину журнально-редакторской деятельности Некрасова, сыгравшей такую важную роль в истории русской общественной мысли. Сравнительно мало внимания уделено сатирическим произведениям Некрасова, хотя очень немногие поэты могли бы соперничать с ним в этой области. Блестящая сатира Некрасова — этого «Щедрина в поэзии» — безусловно достойна особого всестороннего изучения. Эти пробелы обусловлены, конечно, в значительной степени размерами очерка.

Мы уже отмечали, что в целом книга написана ровно и хорошо, но порою в ней попадаются неточные выражения, неудачные обороты. Так, например, на стр. 113—114 А. Еголин пишет: «Гонения на журнал («Современник») стали чудовищными. В 1865 году последовали одно за другим два предостережения. Тут явно был нужен или другой эпитет, или другие доказательства и примеры. Едва ли, конечно, можно говорить о совпадении мыслей В. Зайцева и Г. В. Плеханова относительно «антиэстетических» погрешностей у Некрасова (стр. 190), когда несколькими строками выше на той же странице показано полное различие их точек зрения на эти «погрешности».

Приложением к книге дана «Летопись жизни, журнальной и поэтической деятельности Некрасова» — хронологическая канва, составленная В. Евгеньевым-Максимовым.

Н. Богословский

НОВЫЕ КНИГИ

МИХАИЛ СВЕТЛОВ. «ОТЕЧЕСТВО ГЕРОЯ». «Советский писатель», М., 1942.—В сборнике 12 стихотворений, написанных в первые месяцы отечественной войны. В них звучат клятва верности советских патриотов, чувство злой ненависти к фашистским захватчикам, преданной любви к своей Родине, восхищение героями Красной Армии. Стихи талантливого поэта передают те мысли и настроения, тот пафос ненависти к врагу и неисчерпаемой доблести, которые одухотворяют наш народ в справедливой Великой Отечественной войне.

Е. Ф. НИКИТИНА. «ЯСНАЯ ПОЛЯНА». Госкиноиздат, М., 1942. — Небольшая книжечка рассказывает об одном из замечательных заповедников русской и мировой культуры, с которым связано творчество величайшего гения мировой литературы — Льва Толстого. Этот простой и прочувствованный рассказ особенно своевременен в наши дни, когда все культурное человечество охвачено возмущением варварским надругательством немецких фашистов над Ясной Поляной.

В книжке показана роль Ясной Поляны в творческой биографии великого писателя. Последний раздел книжки повествует об омерзительном надругательстве фашистов над этой святыней русской культуры.

Книжка заканчивается описанием торжественного момента реставрации и открытия музея в Ясной Поляне после изгнания Красной Армией немецко-фашистских полчищ.

А. СТАРЦЕВ. «АМЕРИКА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО». Академия Наук СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Госиздат Узб. ССР, Ташкент, 1942. — Интересная и своеобразная работа А. Старцева показывает корни исторической дружбы русского и американского народов. Истоки ее восходят к XVIII веку и ярко сказались еще в творчестве Радищева.

В брошюре этап за этапом прослежены связи русской и американской культуры, взаимно обогащавших друг друга на протяжении двух с лишним столетий.

Особенную ценность представляет вторая часть брошюры, где широко использован материал, убедительно характеризующий взаимный интерес американского общества к советской литературе и нашего народа к выдающимся достижениям современной передовой художественной литературы и культуры Америки.

СТЕПАН ЦИПАЧЕВ. ФРОНТОВЫЕ СТИХИ. «Советский писатель», М., 1942. «СТИХИ». Библиотека «Огонек» № 18, Изд-во «Правда», М., 1942.—Сборник фронтовых стихов содержит 17 стихотворений, написанных за первое полугодие отечественной войны. Здесь собраны по преимуществу вещи, печатавшиеся в «Правде» и других газет.

Вторая книжка гораздо шире по объему. В нее вошли избранные стихи, написанные за последние пять лет. Здесь наряду со стихами о героизме советских воинов, их любви к родине и ненависти к врагам звучат мотивы тепло-го, лирического отношения к нашей обильной, прекрасной, свободной земле, которую теперь, не щадя сил и жизни, защищают советские люди от ненавистного врага.

«НА ВОДЕ». Н. А. АВРААМОВ, капитан 1-го ранга. Военная библиотечка комсомольца, Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», М., 1942.—Эта обильно иллюстрированная брошюра посвящена водному спорту применительно к задачам военного времени. Книжка учит плаванию различными стилями, приемам плавания в одежде, с винтовкой, спасанию тонущих, гребле, управлению шлюпкой и т. д. Она, несомненно, является простым, доступным и достаточно полным инструктивным пособием для нашей молодежи.

М. ГОЛОДНЫЙ. ПЕСНИ И БАЛЛАДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Госиздат Узб. ССР, Ташкент, 1942. — Стихи, помещенные в этой книжке, известны читателям по центральным газетам. Такие вещи, как «Песня о Сталине», «Подвиг капитана Гастелло», «Богатыри», «Олеся», «На голос товарища», широко исполняются по радио и вошли в естрадный репертуар.

«ВЕЛИКИЙ ГОРОД ЛЕНИНА». Литературно-художественный сборник ОГИЗ, Гослитиздат, М., 1942.—Этот сборник, один из первых, посвященных городу-герою, заслуживает особого внимания. В нем широко представлены стихи, очерки, рассказы и отклики политических деятелей, представителей культуры и искусства Ленинграда и всей Советской страны.

Сборник показывает всеобщий подъем, охвативший защитников великого города Ленина. Перед читателем проходят образы славных балтийских моряков, доблестных красноармейцев и замечательных патриотов трудового фронта.

В сборник вошли лучшие произведения лауреата Сталинской премии Н. Тихонова, посвященные Ленинграду («Город в броне», поэма «Киров с нами», рассказы «Черты советского человека»), стихи и очерки Джамбула, В. Вишневского, В. Гусева, В. Инбер, Каверина, Чуковского, Тьяннова, Антокольского, Прокофьева, Галины Улановой, Д. Шостаковича, В. Иванова и др. Исполненные любви и гордости за великий город — колыбель Октябрьской революции, они зовут к беспощадной мести ненавистным врагам.

С. АЛЫМОВ. «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ». Стихи и песни. «Советский писатель», М., 1942.—В сборник входят стихотворения, написанные автором в дни войны. Они посвящены нашим героическим красноармейцам и краснофлотцам, советским артиллеристам, подводникам и

партизанам. По преимуществу, это бодрые песни и сатирические стихи, изобличающие тупую жестокость и коварство наглого врага.

Простой и доходчивый ритм, ясность народного-сказовой манеры делают книжку понятной и доступной любому бойцу.

А.А. ХАМАДАН. «ТЕБЕ, РОДИНА». Фронтовые очерки. «Советский писатель», М., 1942. — Книжка объединяет двенадцать очерков-зарисовок военного корреспондента. Они посвящены отважным бойцам нашей родины — летчикам, танкистам, пехотинцам, врачам, лыжникам, автоматчикам, доблестным разведчикам Красной Армии. Очерки документальны, написаны простым и доходчивым языком. Объединенные в одной книжке, они дают представление о негнбимой воле, мужестве и преданности советских бойцов, об их неистребимой ненависти к фашистским захватчикам.

Л. ЧУКОВСКАЯ, Л. ЖУКОВА. «СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕТЯМ». Рассказы детей о войне. «Советский писатель», М., 1942. — Авторы записали свыше двух десятков рассказов детей, эвакуированных из районов, захваченных немецкими фашистами. Дети в возрасте от восьми до пятнадцати лет, каждый по-своему, бесхитростно и просто, иногда в двадцати-тридцати строках, повествуют о том, что навсегда останется неизгладимым в их памяти. Гитлеровцы разграбили их родные города — на их глазах погубили родителей, братья и сестры, многим пришлось пережить ужасы обстрела с воздуха, когда фашистские изверги цинично и хладнокровно уничтожали беженцев — женщин и детей. В некоторых рассказах звучит совсем недетская ненависть. Она порождена суровыми испытаниями и звучит разговором фашистскому человеку ненавистничеству. Муки советских детей, поруганное врагами их светлое детство вызывают к беспощадной мести. Последний раздел книги рассказывает о той всенародной заботе, о том внимании, которые проявляют трудящиеся нашей страны к эвакуированным детям. В глубоком тылу они находят не только заботу государства, но и родительскую ласку приемных отцов и матерей.

«ШРАПНЕЛЬ». Сатира. Собрал К. Чуковский. Рисунки Черемных, Кукрыниксов и Бор. Ефимова. «Советский писатель», М., 1942. — В сборнике собраны печатавшиеся в газетах и журналах антифашистские стихи и рисунки, имеющие большую агитационную ценность. Их авторы — С. Маршак, А. Раскин, М., Слободской, Леонид Ленч, А. Прокофьев, С. Михалков, А. Твардовский, И. Уткин и др. Большую часть сборника занимают широко известные, прекрасные стихи лауреата Сталинской премии С. Маршака и его надписи к рисункам Кукрыниксов. Такие вещи, как «Фашистская псарня», «Арабские сказки», «Фашистская банда», «Гиена и шакал» и др., — наиболее сильные и удачные вещи в сборнике. Они дают разную, меткую сатирическую характеристику омерзительной сущности фашизма. Удачны в

сборнике стихи И. Уткина «Чему никогда не быть», А. Твардовского и Б. Палийчука «Дед Данила — проводник» и некоторые другие. К сожалению, наряду с этими весьма выразительными вещами в сборник включены вещи слабые, утратившие сатирическую остроту. К ним относятся стихи Ал. Раковича, В. Гранова и Ивана Пруткова. А. Флита, Николая Адуева и такие стихи способного автора Алексея Резапкина, как «Фашистскому солдату» и «Старые песни на новый лад». Несмотря на эти недостатки, сборник сыграет свою положительную роль, которой в большой мере способствуют исключительно талантливые и выразительные рисунки.

«ЖЕНЩИНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». Сборник. «Советский писатель», М., 1942. — Среди доблестных защитников нашей родины почетное место принадлежит советской женщине. Вся страна помнит, чтит и восторгается подвигами Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Людмилы Павлюченко и других прославленных героинь отечественной войны, чьи имена олицетворяют десятки тысяч бесстрашных и преданных дочерей нашей великой родины. Об их подвигах повествуют рассказы, собранные в сборнике: Николая Тихонова «Девушка», Конст. Симонова «Паша с соляного промысла», Вадима Кожевникова «Та, которая шла впереди», О. Курганова «Мать», Е. Юнг «Быль наших дней», Ивана Ле «Красная звезда», Мих. Щелкова «Санитарка Серова», Кирилла Левина «Зоя Космодемьянская». У героинь этого сборника разные биографии. Они принадлежат к различным поколениям. Но их роднит единое чувство неугаваемой любви к родине, единый порыв ненависти к фашистам, презрение к смерти, готовность к великому подвигу за честь и свободу советского народа.

К. ПАУСТОВСКИЙ, «НАШИ ДНИ». Сборник рассказов. «Советский писатель», М., 1942. — Из пяти коротких рассказов, включенных в сборник, четыре характеризуют тот всенародный подъем патриотического духа, который во всех уголках советской земли освещает людям путь к героизму и победе. Пятый рассказ, «Белые кролики», показывает звериные нравы немецко-фашистской армии. Свойственный автору романтический пафос придает его рассказам о советских людях особенную взволнованность. Величие и красота необъятных просторов нашей родины, переданные с большой нежностью, будят в читателе чувство яростной боли за поругание немецкими захватчиками самого любимого и дорогого. Этим определяется воспитательно-пропагандистское значение книжки.

КОНСТ. СИМОНОВ. «НА ЗАПАД». «Советский писатель», М., 1942. — В сборник вошли лучшие из очерков автора, опубликованных в центральных газетах: «У берегов Румынии», «Смерть за смерть», «Дезушка с соляного промысла», «По дороге на Петсамо», «В разведке», «Истребитель истребителей», «Дерза-

ние», «Дорога на запад», «Вчера в Калинин», «Июнь — декабрь», «Третий адъютант». Собранные вместе, они дают яркое впечатление об ожесточенной, яростной битве с фашистскими захватчиками, развернувшейся на протяжении от Черного до Баренцова морей. Основная их ценность заключается в проникновенном изображении характеров бойцов Красной Армии — рядовых командиров и комиссаров, лучших сынов советского народа.

«**ГЕРМАНИЯ**» (Зимняя сказка) **ГЕНРИХА ГЕЙНЕ**. Перевод Вильгельма Левика. «Советский писатель». М., 1942.—В предисловии к новому переводу этого замечательного произведения Ал. Дейч пишет: «До сих пор противники Гейне чувствуют боль от тех ран, которые наносил им разящий меч его сатиры.

Германские фашисты, гитлеровцы, злейшие враги культуры и человеческого прогресса, естественно, ненавидят Гейне, который окрестил их идейных предков «старонемецкими болванами».

Разящая сатирическая сила этой поэмы Гейне полностью сохранилась и в наши дни. Прообраз фашизма, олицетворяемый прусской военщиной, высмеян правдиво, жестоко, немилосердно. Вот почему эта книга, сожженная фашистскими варварами на кострах в своей стране и во всех оккупированных немцами странах, вызывает особую любовь и симпатии всех свободолюбивых народов и будет встречена с большой любовью советским читателем.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. «**ЧТО МЫ ЗАЩИЩАЕМ**». Сборник статей. «Советский писатель». М., 1942.—Пламенные публицистические статьи одного из крупнейших советских писателей снискали в нашей стране всенародное признание и стали широко известными за ее пределами. Слово писателя, проникнутое пафосом величия исторического прошлого и настоящего нашей страны, звучит весомо и гордо.

Оно зовет к беспощадной борьбе, оно показывает неистощимость народных сил, непоколебимость нашего мужества — залог неминуемой грядущей победы над германским фашизмом.

В книге собраны статьи: «Что мы защищаем», «Родина», «К славянам», «Стыд хуже смерти», «Я призываю к ненависти», «Армия героев», «Несколько поправок к реляциям Геббельса», «Таран», «Бессмертие», «Нас не одолеешь», «Фашисты ответят за свои злодеяния», «Лицо гитлеровской армии», «Кто такой Гитлер и чего он добивается», «Москве угрожает враг», «Кровь народа», «Клянемся не осквернить святости нашей родины», «Фашисты в Ясной Поляне», «Мы навсегда отучим немцев воевать», «1942 год», «Народ и его армия».

В дни угрозы, нависшей над нашей страной, читатель почерпнет в этой книге источник боевого мужества и, вновь ощутив славу исторического прошлого и великую роль нашей страны в отечественной войне, каждый, — в ком бьется живое советское сердце, — удвоит и утроит свои усилия в деле окончательного разгрома врага.

МИХАИЛ СВЕТЛОВ. «**ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ**». «Молодая гвардия», М., 1942. — Память о героически погибших в боях за Москву двадцати восьмью гвардейцами прочно вошла в летопись славных дел Великой Отечественной войны. Их имена — олицетворение высшей доблести, высшего мужества советских патриотов, их презрения к смерти, их готовности любой ценой отстоять отечество от фашистских орд. Вот почему имена 28, уже овеянные легендой, входят в народную жизнь творениями искусства. Поэма М. Светлова — одна из первых попыток лирически вдохновенного рассказа, проникнутого чувством восхищения и гордости перед их бессмертным подвигом. Лучшие ее строфы надолго сохраняют в советской поэзии для грядущих поколений имена и дела храбрецов-гвардейцев, высоко вознесших боевую славу советского народа.

Редакция: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

A61293. 8 печ. листов. Тираж 40.000. Зак. 1512.
Подписано к печати 7/IX—11/IX—1942 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.